This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG3467
N4N4
1908

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Nemirovich-Danchenko, V.I. 81/46

Вас. Немировичъ-Данченко.

1945 г.
1946 г.
Н-50

НЕЗАМѢТНЫЕ ГЕРОИ.

Счастье Ивана-Непомнящаго (повѣсть).
За что? (повѣсть). — Ошибка (повѣсть).
Геркулесъ. — Старые вѣники.

НАУЧНАЯ
№ 37757

Изданіе 6-е
Т-ва И. Д. Сытина.

3

Ро 3467

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
Москва.—1908.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Счастье Ивана-Непомнящаго 3

За что? 62

Ошибка 87

Геркулесъ 124

Старые вѣнки 149

Счастье Ивана-Непомнящаго.

(повѣсть)

I.

Старый бродяга цѣлые дни ходитъ по этапному двору, растерянный и смутный, точно забылъ что-то, чего никакъ вспомнить не можетъ. Записанъ онъ «Непомнящимъ», но за частые побѣги товарищи прозвали его «Иваномъ-Прощай». Никто не говоритъ съ нимъ,—знаютъ, что теперь отъ него, кромѣ брани да сумрачнаго взгляда, ничего не дождешься. Не по себѣ «Ивану-Прощай»: небо поголубѣло, вѣтерокъ нѣтъ-нѣтъ да и обвѣетъ такимъ ласковымъ тепломъ, что въ груди точно вздрогнутъ какія-то струны и голову закружитъ, и еще ненавистнѣе станутъ высокіе частоколы, толстыя стѣны и желѣзныя рѣшетки. Снѣгъ, всю зиму лежавшій по угламъ у сѣрыхъ башенъ, крѣпкій настолько, что на него шутя взбѣгали арестанты, теперь разрыхлился точно губка, посинѣлъ и сталъ точиться грязными струйками въ обступившія его лужи... Вернутъ «Ивана-Прощай» со двора въ камеру, щелкнетъ позади замокъ, будто въ самомъ сердцѣ повернутъ что-то съ болью, и еще темнѣе становится бродяга, еще злѣе; точно загнанный волкъ оглядывается онъ на дверь. Такъ бы и сжалъ горло сторожу, пикнуть бы не успѣлъ тотъ.

ѣп

ѣть къ окну,
ъ къ ней п
уя холода рж
рится онъ н
я ему подъ н
ія, и рѣки,
-далеко. Во
или не хоч
раскинулось
манящаго п
ые тоны; кра
нце садится»,
шно ждетъ, ч
акѣ странница-
непроглядной
ала ночная звѣз
дится ему тихі
сосновыхъ и
анную почву,
хъ крылъ и
атые корни,
изъ этого дрем

гроза,
нную

й
ке в

Онъ зорко оглядывалъ малорослыхъ и слабыхъ на видъ конвойныхъ, казавшихся горбатыми подъ ими неуклюжими сѣрыми шинелями. На ихъ ыкахъ играло солнце, дула были заткнуты су-нными втулками. «Заряжены», пробѣжало въ оловѣ у бродяги, и онъ усмѣхнулся, вспомнивъ, акъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ вслѣдъ за нимъ растерянно загрохотали наудачу безтолковые и словно данные съ перепугу выстрѣлы. Онъ еще не забылъ теплаго пара отъ той земли, къ которой, будто желая слиться съ нею, припалъ онъ тогда лицомъ, наступившую вслѣдъ за тѣмъ тишину, зловѣщую и еще болѣе страшную, съ чудившимися ему осторожными, крадущимися шагами. И волю!..

Ну, а теперь?

Неужели итти на каторгу? Старый бродяга хо-по былъ знакомъ съ распостылой. Словно въявь стилась подъ его ногами черная шахта; чер-ми ходами легли въ землѣ и камнѣ штольни, алеко одинъ отъ другого замигали огоньки екъ и послышался унылый и однообразный молотка... Солнце еще не поднимается, а гонять туда, въ подземный мракъ; назадъ *они*, когда оно зайдетъ за синія горы и за ними... Такъ и не видятъ Божьяго

ощай» тронулъ локтемъ сосѣда.

видать.

значитъ?—одобрилъ бродяга.

лету.

въ непомнящихъ?

— Винись ты, коли охота.

— Зовутъ-то какъ?

— Иванъ Дальній... А хочешь ближнимъ величай, мнѣ все равно...

— Такъ, значитъ, свои, товарищи... — повеселѣлъ «Прощай».—Какъ надумалъ дальше-то?

— Тамъ видно будетъ. Кабы на вольное поселеніе — съ нашимъ удовольствіемъ. Только меня на двадцать годовъ засудили.

— Въ работы?

— Извѣстно не въ сторожа.

— И опять, значитъ, товарищи!..

А еще дня черезъ два, когда утомленная партія и не менѣе утомленные конвойные заснули въ этапномъ домѣ посреди темнаго, отовсюду обступившаго его лѣса, часовому, стоявшему снаружи у самаго частокола, послышался глухой и странный звукъ, точно сверху упало что-то мягкое. Еще одинъ. При этомъ звякнула и цѣпь... Какой-то темный клубокъ будто прокатился къ лѣсу... Солдатъ наскоро прицѣлился — огнистая струйка прорѣзала тьму. Точно ахнулъ лѣсъ, пробужденный выстрѣломъ... Чей-то крикъ замеръ въ немъ...

«Должно, «Дальняго» тронуло», соображалъ про себя «Иванъ-Прощай», со-слѣпу бѣжавшій прямо въ таинственное царство столѣтнихъ великановъ, едва мерещившихся ему въ ночномъ мракѣ... Крики позади, голоса... Опять знакомые выстрѣлы наудачу. Лѣсъ ожилъ. Невидимыя цѣпкія вѣтви хлещутъ прямо въ лицо бѣглецу; чьи-то узловатыя и твердыя руки будто ловятъ его, схватываютъ полы арестантскаго халата, впиваются острыми иглами въ его похолодѣвшее тѣло, бросаютъ ему

подъ ноги что-то, отъ чего онъ спотыкается. Наконецъ онѣ же, должно-быть, отняли землю изъ-подъ него, и онъ полетѣлъ внизъ, только по мокрой травѣ, осыпавшей его лицо росою, догадываясь, что сорвался съ крутого ската... Ударился онъ о пень, торчкомъ выступившій на откосѣ; оглушило на мгновеніе... Потомъ, сообразивъ, что безсознательно удержался на немъ, приподнялъ голову. Тьма вверху, тьма внизу... Только надъ нимъ въ этой тьмѣ нѣтъ-нѣтъ да прорѣжется багровая струя выстрѣла, и самъ онъ, повторяемый эхомъ, прокатится далеко-далеко... «Иванъ-Прощай» спустился внизъ и поползъ, оглядываясь, какъ звѣрь, назадъ и не замѣчая боли отъ ссадинъ на колѣняхъ и отъ разодранныхъ колючками и острыми камнями ладоней.

«Должно, «Дальняго» покончили! — мелькало у него въ головѣ.—Незадача ему была!..»

А самъ все дальше, не зная куда и ничего не видя въ безпросвѣтномъ мракѣ теплой весенней ночи.

III.

Воля!

Тысячами голосовъ говоритъ она ему, тысячами оттѣнковъ и красокъ привѣтствуетъ бродягу отовсюду. Вторую недѣлю какъ надъ нимъ никого, кромѣ этого голубого простора, гдѣ такъ тонко рисуются переплетающіяся вѣтви деревъ, покраснѣвшая кора которыхъ уже подернулась нѣжною, мягкою зеленью первой весенней листвы. Точно никогда и не было высокихъ, угрюмыхъ стѣнъ и ржавыхъ желѣзныхъ рѣшетокъ. Только во снѣ еще

примерещатся ему конвойные, лязгъ цѣпей да щелканье замковъ, и въ неисходной тоскѣ просыпается бродяга, чтобы увидѣть надъ собой темное, все осыпанное звѣздами небо и колеблющіяся вершины лѣсныхъ великановъ. Цѣлые часы потомъ лежитъ онъ, прислушиваясь къ ихъ однообразному торжественному гулу.

Воля!

Онъ и не знаетъ, сколько верстъ прошелъ въ сторону отъ той дороги, по которой гнали его вмѣстѣ съ другими. Сначала еще попадались поселки, издали замѣчалъ онъ дымокъ, тонко курившійся изъ трубъ, и старательно обходилъ его. Ночью только, какъ звѣрь, прокрадывался къ людямъ, сторожа, гдѣ не лаютъ собаки, гдѣ безъ шума можно влѣзть въ чужую клѣть и взять хлѣба... Онъ помнитъ, какъ однажды ему невмоготу стало, и онъ прямо вошелъ въ избу, въ окнѣ которой мерещился огонекъ... Старуха, сидѣвшая тамъ, обмерла, увидѣвъ его; руки и ноги трясутся. Еще бы: желтый тузъ на спинѣ — кому невдомекъ!..

— Не бойся, матушка... Хлѣба нѣтъ ли...

И языкомъ та не ворочаетъ.

Отыскалъ самъ онъ краюху хлѣба, воды напился. Видитъ, бѣдность кругомъ непокрытая.

— Да у самой-то осталось ли хлѣба?

Очнулась та немного.

— Уйди... уйди... завтра насбираю еще...

— Ну, что съ нищей братъ! — Оставилъ краюху на столѣ и прочь пошелъ. Зато днемъ наткнулся въ лѣсу на охотника, хотѣлъ мимо пройти, даже «Богъ въ помощь» сказалъ ему, да поднялъ тотъ

ружье, чтобъ пристрѣлить, а можетъ и попугать его. Свѣта не взвидѣлъ «Иванъ-Прощай». Бросился, подмялъ подъ себя, анъ глядь—онъ ужъ и не дышитъ. Поди, и до сихъ поръ валяется въ чернолѣсьѣ, коли волки не объѣли и не разнесли! Ну, Господь съ нимъ. Самъ своей смерти захотѣлъ. Зато бродяга развязался съ арестантскимъ халатомъ и бродитъ теперь по лѣсу въ дубленомъ полушубкѣ и ружье есть на звѣря. Подождать, пока отрастутъ волосы, а тамъ и къ людямъ показаться можно будетъ...

Воля!

Молчитъ совѣсть; не шевельнется воспоминаніе о крови, которую не разъ проливалъ онъ. Что жъ—когда и подумаетъ объ этомъ—какъ звѣрю, такъ и ему — не больно. Люди всегда были старому бродягѣ лютыми ворогами. Съ дѣтства съ самаго росъ онъ загнаннымъ и захудалымъ щенкомъ, котораго каждый норовилъ ткнуть, да побольнѣй... Кормили мало, били много, а выросъ, воровать началъ съ голоду—и еще больше бить стали. Въ тюрьмѣ только говорилъ ему «батька» не разъ, что такъ жить нельзя, что Христосъ терпѣлъ еще больше, что надо покаяться и исправиться но слова эти до сердца не доходили. Сумрачно слушалъ ихъ заключенный и, понурясь, уходилъ къ себѣ за желѣзныя рѣшетки...

«Христосъ всѣхъ прощалъ! А меня кто простилъ?» думалъ онъ про себя, ложась на нары...

А тамъ первая кровь — и точно жесткою корой покрылась его душа. Озвѣрѣлъ онъ, бѣжалъ и сталъ бродить по всему свѣту. Съ тѣхъ поръ и брови нависли низко надъ его злыми глазами, и

возненавидѣлъ онъ все и всѣхъ... Къ одному только и лежало его сердце—къ волѣ, къ лѣсу, къ полю, къ одиночеству, чтобы ни надъ нимъ ни около никого не было...

И идетъ онъ теперь, и мелькаютъ мимо сѣрые корявые стволы. Нога скользитъ по землѣ, покрытой хвоей; сквозь нее кое-гдѣ пробиваются зубчатые листья и острые языки первой травы. Бѣлка уже проснулась и изъ теплаго дупла, веселая и нарядная, выскочила на солнце и мечется съ вѣтки на вѣтку, словно смѣясь старому бродягѣ. А вверху темная синь то нахмурится грузною тучей и вспрыснетъ неисходное царство лѣсное весеннимъ дождемъ, то загремитъ воскрешающей грозой, то раскинется ласковой глубиной, словно цѣлый міръ отогрѣвая въ своихъ материнскихъ объятіяхъ... И идетъ «Иванъ-Прощай» по темнымъ оврагамъ, гдѣ шибко и звонко бѣгутъ ручьи отъ талаго снѣга, гдѣ онъ лежитъ еще бѣлыми пятнами въ вѣчной тѣни, куда не проникаетъ солнце, и чѣмъ дальше, тѣмъ звончѣй и шибче весеннія воды, и пыжутся онѣ, и пѣнятся ярыми потоками...

Воля!

А заморится бродяга—вездѣ ему готовъ отдыхъ. Раскинется на чемъ стоитъ, руки подъ голову забросить — и гляди-себѣ безъ конца въ голубую высь, до тѣхъ поръ гляди, пока почудится, что самъ несешься въ нее, будто сорвавшись, и страшно, и голову закружитъ... На ногахъ начали уже заживать ссадины отъ кандаловъ, теперь и встрѣтится кто — никому невдомекъ будетъ, кого Богъ даетъ въ спутники. Да кому же и быть въ этомъ бору! Ни на одномъ деревѣ нѣтъ слѣда отъ

топора, ни одного пня, срубленнаго рукою человѣка. Вонъ обгорѣлая сосна, вся черная стоитъ— только ее молніей обожгло. Вонъ другая—подгнило старое дерево и само рухнуло, запутавшись густою вершиной въ сосѣднихъ деревьяхъ... Нѣтъ, тутъ не бывало ворога... Тутъ воля настоящая. Звѣрь — тотъ попадался «Ивану-Прощай». Разъ медвѣдь наткнулся прямо подъ дуло его ружья, да старый бродяга помиловалъ... «Какая мнѣ въ тебѣ корысть? — подумалъ онъ.—Шубу — къ лѣту не ко времени, за зиму ты истощалъ весь и ослабъ... Ступай себѣ, отъѣдайся!.. Ну, а осенью— не наткнись, другая у насъ съ тобою встрѣча будетъ»... И онъ такъ гикнулъ на звѣря, что тотъ, подобравъ хвостъ, развалкой-развалкой живо унесъ ноги въ молчаливую дрему темнаго лѣса... Слышалъ онъ изрѣдка ночью вой волковъ издали. Въ этой тишинѣ за десятки верстъ доносился онъ, надрывая душу. Жутко становилось бродягѣ, не потому, чтобы онъ боялся ихъ, нѣтъ! А точно въ немъ самомъ стонало и жаловалось что-то такое же. Будто онъ былъ здѣсь сродни этимъ голоднымъ хищникамъ. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ и онъ не волкъ между людьми?.. Раскладывая костеръ, по цѣлымъ часамъ онъ глядѣлъ въ его полымя, въ красныя груды раскалившихся углей, по которымъ пробѣгали и прятались серебряныя змѣи, вспыхивали и опять падали золотые языки... Пламя свистало, взвиваясь кверху, точно ему хотѣлось оторваться отъ земли и унестись въ темное звѣздное небо. Шипѣли серебряныя змѣи и золотые языки; съ громкимъ трескомъ лопалась кора сырыхъ сучьевъ, струя въ огонь тонкіе, синеватые дымки. Вся

коробясь, словно отъ боли, корчилась береста, по которой пробѣгали искры, пока она сама не вспыхивала яркимъ снопомъ,—а бродягу все больше и больше томило сознаніе, что всѣ ему вороги, что потоль ему и хорошо, поколь онъ здѣсь одинъ... и жалобный, пронзительный волчій вой еще тяжелѣе ложился на душу...

— У, дьяволы! — самъ не зная на кого, злился онъ.—Чтобъ васъ...

И надвигавшаяся отовсюду на костеръ темная ночь изъ-за сѣрыхъ стволовъ, едва проступавшихъ въ волшебномъ кругѣ свѣта, пристально смотрѣла въ суровое лицо бродяги и молча слушала его непонятныя проклятья...

IV.

Шелъ да шелъ себѣ «Иванъ-Прощай» темнымъ лѣсомъ, молчаливыми полянами, сырыми оврагами, болотинами, гдѣ вслѣдъ за нимъ проступали въ опускавшейся почвѣ холодныя лужи, гдѣ на моховыя кочки уже слеталась веселая дичь, цѣлые дни стрекотавшая, словно радуясь щедрому солнцу, и выбрался, наконецъ, на жилое мѣсто. Правда, ему не видать было ни деревень ни поселковъ. Онъ взлѣзъ на одиноко стоявшую сосну и оттуда внимательно сталъ оглядывать мѣстность. Сырыя низины синѣли вдали; темными, приникшими къ нимъ облаками казались лѣса—и только... Ни дымку ни соломенной кровли. Если бы была такая, она издали горѣла бы вся, благо день свѣтилъ такъ, что даже влажные ерики между кочками поблескивали, слѣпя глаза, привыкшіе къ сумраку тѣни-

стаго чернолѣсья. Тѣмъ не менѣе здѣсь для «Ивана-Прощай» было людно. Еще бы: вонъ какимъ широкимъ полукругомъ, огибая сырую болотину легла желтая, плотно прибитая дорога. Старыя, еще съ прошлой осени глубоко врѣзавшіяся въ нее колеи и теперь вьявь пересѣкались, сливались и опять разбѣгались; видно, что еще новыми колесами не были разбиты въ ѣдкую пыль комья слежавшейся земли. Должно-быть, рѣдко ѣздили по ней. По крайней мѣрѣ, старый бродяга цѣлые часы высидѣлъ на деревѣ, глядя, не покажется ли гдѣ-нибудь телѣга, и слушая, не проскрипятъ ли вдали немазанныя колеса крестьянскаго воза... Потомъ онъ сползъ тяжело на землю и сѣлъ подъ сосну, благо тутъ было сухо... Вдали онъ видѣлъ, какъ отъ большой дороги отдѣлился и побѣжалъ въ сторону узенькій проселокъ. Должно-быть, онъ-то и велъ къ какому-нибудь одинокому селу. Зайцы да дичь надоѣли «Ивану-Прощай». Захотѣлось ему хлѣба, и сталъ уже соображать онъ, что теперь смѣло можетъ онъ пойти въ село и купить его. Волосы, правда, еще не отросли. Полголовы, точно свѣжая порубка въ лѣсу, въ глаза бросалась. Да онъ обвязалъ ее тряпицей такъ, что не видать было. У убитаго имъ охотника въ карманѣ рублевая бумажка да немного серебра оказалось... Войдя въ лавку, и шапки снимать не зачѣмъ. Купилъ и пошелъ себѣ дальше... Правда, противно ему было на людей смотрѣть и боязно. Это не то, что въ лѣсу. Въ лѣсу и волкъ не боится человѣка, а заверни тотъ же волкъ въ какую-нибудь деревушку, такъ любой паршивый, со-слѣпу тявкающій, поджавъ хвостъ, щенокъ страшенъ ему. Иванъ-бродяга рѣшилъ итти тихо, такъ, чтобы добраться до

села или деревни къ ночи, не иначе. Не разглядятъ въ сумракѣ—придетъ и уйдетъ, не возбуждая ничьего любопытства. Онъ свернулъ на проселокъ, капризно извивавшійся по болотинамъ, то пропадавшій въ рощицахъ, то опять выбѣгавшій на солнце. Вотъ и другой слѣдъ человѣка показался—нѣсколько срубленныхъ пней. Одинъ изъ нихъ свѣжій совсѣмъ. Когда на него положилъ ладонь бродяга, ее охватило сыростью только что раненой древесины. Вонъ и зіяющія щели; видимо, пока отдыхалъ мужикъ, торчалъ въ нихъ топоръ. Ишь и черное пятно отъ недавняго костра; золу еще и вѣтромъ не снесло отсюда... Подъ вечеръ даже почудилось Ивану издали, точно чей-то голосъ крикнулъ. Онъ насторожился, но больше крикъ этотъ не повторялся. Тишина стояла кругомъ такая, что журчаніе ручья, оставленнаго имъ позади, доносилось сюда такъ, будто онъ перепрыгивалъ съ камешка на камешекъ подъ самыми его ногами. Пошелъ дальше бродяга, цѣлый день шагалъ себѣ по проселку. Синева неба блѣднѣла. На вершинахъ ближайшаго лѣса вспыхнуло точно розовое пламя; западъ весь охватило огнистымъ сіяніемъ, на которомъ рѣзко и причудливо обрисовались до сихъ поръ казавшіяся смутными и сливавшіяся въ одну марь горы, за которыми зашло солнце, а деревни нѣтъ какъ нѣтъ! Еще разъ взобрался на дерево бродяга, пользуясь послѣдними минутами умиравшаго дня: не покажется ли дымокъ, не померещатся ли кровли—нѣтъ! Кругомъ были все тѣ же лѣса и болотины. Сверху онъ даже разглядѣлъ краешекъ солнца, тотчасъ же на его глазахъ опустившійся за темно-синюю сѣдловину между двумя

вараками [1]). Тотъ же проселокъ шелъ прямо въ густившіяся уже вдали сумерки и пропадалъ въ ихъ таинственной мглѣ. Крошечное озерко какое-то тускло свѣтилось въ сторонѣ; должно, натаяло оно отъ снѣга въ низинѣ. Чу, опять крики и стоны; только вверху они. Поднялъ голову Иванъ и въ потускнѣвшихъ уже небесахъ разсмотрѣлъ журавлиную стаю, все ниже и ниже спускавшуюся въ далекомъ лѣсу на отдыхъ, на ночь... Блекло небо; желтый отсвѣтъ за горами, куда заходило солнце, блѣднѣлъ. Одна, другая звѣздочка чуть прорѣзались въ высотѣ... Съ озерка, въ сторонѣ, заорали лягушки. Ухнуло что-то въ лѣсу... Иванъ еще не чувствовалъ устали и, бодро спустившись съ дерева, пошелъ впередъ. Дорога поднималась вверхъ. Тьма уже стояла кругомъ. Въ ней чудились бѣловатыя пятна тумана вдали, надъ низинами, и высокіе причудливые силуэты одинокихъ деревьевъ, точно протягивавшихъ къ страннику длинныя руки. Ему хотѣлось добраться только до ближайшаго лѣска, въ который вбѣгалъ проселокъ, чтобы выбрать тамъ мѣсто посуше и заночевать. Лѣсокъ этотъ точно самъ на него надвинулся, обступилъ его отовсюду и охватилъ своею тишиною. Тутъ уже болотинъ не стало. «Иванъ-Прощай» сгребъ побольше хвои отовсюду, собралъ съ вязанку валежника и сталъ высѣкать огонь... Ударилъ о кремень разъ, два... Цѣлый снопъ искръ разсыпался внизъ, и вдругъ бродяга остановился... Что это? Чудится или и впрямь кто-то плачетъ?.. «Иванъ-Прощай» даже дыханіе затаилъ... Да... Изъ глу-

---

[1]) Вараки—горы.

бины лѣса доносится чей-то плачъ... Не то женщина, не то дитя... Бродяга на минуту похолодѣлъ было, вспомнивъ старыя сказки, да скоро оправился. Слишкомъ онъ за всю свою жизнь привыкъ къ таинственному для другихъ лѣсному царству, чтобы оно могло его напугать. Плачъ то прекращался, то начинался опять...

— Кому бы тутъ быть?!.. Эй, живая душа!— крикнулъ Иванъ во все горло.

Лѣсъ точно вздрогнулъ... Гулъ прокатился въ глубь его, повторяясь во всѣхъ сторонахъ; сорвались и забѣгали въ вершинахъ было уснувшія бѣлки, затрепетали испуганныя птицы, почудился даже шорохъ отъ ихъ крыльевъ... И опять все успокоилось... Тишина... Теперь какъ ни прислушивается Иванъ—ничего онъ не слышитъ...

— Плакало!.. Это вѣрно... Либо баба какая, либо дитё.

Иванъ вышелъ опять къ проселку...

— Должно, близко,—соображалъ онъ,—иначе бы и не дошло до меня. Онъ всмотрѣлся зоркими, привыкшими работать и ночью глазами въ темень и двинулся... Только старался ступать не такъ тяжело, чтобы не испугать прятавшагося въ глубинѣ лѣса... Прошло полчаса... Чу!—опять плачъ... Только теперь яснѣе слышится... Да, это именно всхлипываетъ и порой кричитъ ребенокъ... Какъ онъ могъ забраться сюда?.. Наверху прояснѣло— должно-быть, луна взошла. Изъ темени выдвинулись сѣроватые стволы деревьевъ. Дорожка уже видна... А плачъ все слышнѣе и слышнѣе... Теперь ужъ хорошо видно. Вонъ дерево свалено грозой, вонъ бѣлое что-то у самаго проселка—палая

лошадь, объѣденная волками, только ребра торчатъ... Что-то, шурша, поползло отъ нея въ сторону. Поползло, поползло, а потомъ бѣгомъ кинулось. Еще нѣсколько шаговъ, и лѣсъ раздвинулся—небольшая поляна, на ней мерещится что-то бродягѣ.

— Кто тутъ?—стараясь не особенно громко говорить, спрашиваетъ онъ...

— Ой, боюсь... боюсь... мамка, мамка!..—И опять всхлипыванія оттуда...

«Иванъ-Прощай» подошелъ ближе.

— Ой, боюсь... Мамка, боюсь...— слышалось все попрежнему.

Луна свѣтила сюда. Въ сторонѣ, у проселка, вытянувшись, лежала навзничь женщина. Широко раскрытые глаза смотрѣли въ темное, ночное небо, уже ничего не видя. Грудь недвижна. Дыханіе не шевелило ея лохмотьевъ. Худая нога вытягивалась изъ-подъ нихъ, вся въ ссадинахъ и синякахъ. Около валялась котомка. Схватившись за руку умершей, возилось что-то живое, припадавшее къ недвижному тѣлу...

— Чего ты?..—сурово спросилъ бродяга...

— Ой, боюсь... боюсь...

Иванъ наклонился... Теперь прямо въ лицо ему неотступно смотрѣли остеклѣвшіе, мертвые глаза. При свѣтѣ мѣсяца онъ разглядѣлъ, какъ по ея словно разомъ опавшимъ и заострившимся чертамъ ползла какая-то букашка. До глазъ добралась, на рѣсницы стала царапаться, но не сомкнулись и не вздрогнули вѣки. Живое, возившееся съ нею, оказалось крохотною дѣвочкой, въ такихъ же лохмотьяхъ, какъ и она сама. Блѣдное личико малютки порою

37757

обращалось къ бродягѣ, но потомъ, очевидно, подъ вліяніемъ безконечнаго, охватывавшаго ее страха, вновь падало на грудь матери и пряталось въ жалкихъ, покрывавшихъ ее тряпкахъ. «Иванъ-Прощай» приложилъ руку ко лбу умершей: онъ былъ совсѣмъ холоденъ; холоденъ былъ и оскалившійся ротъ.

— Какъ звать тебя?.. Чего ты?..

— Анюткой!..— не отрывая лица отъ матери, шептала дѣвочка.

— Давно ли вы обѣ здѣсь-то?

— Не знаю, боюсь...

— Солнце еще высоко было, какъ мамка твоя упала?

— Высоко, дяденька, высоко...

Иванъ-бродяга отошелъ въ сторону, собралъ валежника, наворотилъ его цѣлую груду, пересыпавъ высохшей хвоей. Потомъ онъ высѣкъ огня, зажегъ сухую вѣтку и, раздувъ ее, всунулъ въ костеръ. Веселый огонекъ живо зазмѣился между вѣтвями, обвивая ихъ сѣроватымъ дымкомъ и перескакивая красными языками съ одной на другую...

— Подь... погрѣйся...—все такъ же сумрачно звалъ дѣвочку бродяга.—Иди, слышишь...

— А мамка-то?

— Мамкѣ не мѣшай... Спитъ она теперь..

Отсвѣтъ уже занявшагося костра игралъ на лицѣ мертвой, придавая ему странную, призрачную жизнь. Сидя у огня, старый бродяга задумался. Скоро, можетъ-быть, и ему самому придется улечься такъ гдѣ-нибудь въ лѣсу или на дорогѣ... Удивительное дѣло, такихъ, какъ эта, онъ не мало оставилъ за собою. Совершенно спокойно, бывало, поднималась

рука съ ножомъ или камнемъ для послѣдняго удара на вороговъ, встрѣчавшихся на его дорогѣ. Убивъ, онъ отходилъ прочь, скоро забывая. Ни совѣсть, ни воспоминанія, ничто о нихъ не говорило ему. А эта чужая женщина, эта жалкая, словно падаль, лежавшая на пути нищая, была ему больна. Точно она чѣмъ-то связана съ нимъ. Сердце ему щемило. «Эка бѣда какая!» шептали его губы.

Анютка робко подошла къ огню и тоже растерянно уставилась на него.

По краямъ поляны густѣла темень, пугавшая дѣвочку. Она сначала придвинулась ближе къ «Ивану-Прощай», не замѣчаемая имъ. Потомъ тихо взяла дѣтской ручонкой за палецъ бродягу и крѣпко сжала его, уже не выпуская.

— Ну, чего тебѣ?..— бурчалъ тотъ угрюмо.— Ишь, паскуда!..—А другая рука его будто безсознательно, сама по себѣ, легла на ея головку.— Чего тебѣ?..

Анютка подняла ясные глазки на его лицо. Первый разъ на него, убійцу и вора, смотрѣло другое человѣческое существо такъ довѣрчиво и кротко...

— Ну, будетъ... Ладно... Чего ты...—самъ не зная что и зачѣмъ, ронялъ онъ.

И также въ первый разъ на его глазахъ проступило что-то незнакомое и горячею слезой скатилось по щекѣ на сѣдую щетинистую бороду...

V.

«Иванъ-Прощай» не могъ бы, если бы и хотѣлъ, зарыть Анюткину мать въ землю. У него не было лопаты подъ руками. Онъ удовольствовался тѣмъ,

что натащилъ отовсюду хвои, валежнику, камней и засыпалъ ими трупъ убогой странницы. Дѣвочка сначала испугалась, схватила было его за руку и не давала ему работать. Онъ долженъ былъ прикрикнуть на нее, и та забилась въ какую-то ямку и тамъ проплакала все время.

— Ну, чего ты?— унималъ ее бродяга.

— Мамку жалко.

— Да вѣдь померла твоя мамка, не встать ей больше.

— Какъ померла?

— Ужли же у васъ не помиралъ никто?

— Нѣтъ, былъ дядя Андронъ, его къ себѣ Боженька взялъ.

«Иванъ-Прощай» усмѣхнулся.

— Ну, вотъ и твою мамку тоже взялъ Боженька къ себѣ. Должно-быть, она понадобилась Ему.

— Сѣрко былъ тоже у насъ... И его Боженька взялъ... Ну, а меня скоро?..

Посмотрѣлъ-посмотрѣлъ на нее старый бродяга, и жаль ему стало дѣвочку.

— Тебѣ еще рано...—угрюмо проговорилъ онъ.

— Куда же я, безъ мамки-то?..—А сама держится за его палецъ.

— А я на что?! Не брошу тебя... Не бойся.

— Я боюсь...

— Чего же ты, глупая?

— А какъ ты изъ лѣсу уйдешь, а меня оставишь. Мамка сказывала—въ лѣсу волки есть.

— Я тебя не дамъ имъ. Меня волки пужаются. У насъ ружье!

Успокоивъ, какъ умѣлъ, Анютку, бродяга добылъ двѣ жерди побольше, сдѣлалъ изъ нихъ по-

добіе креста, перевязавъ его лыкомъ, надраннымъ съ бересты.

— Вотъ и могилка для мамки готова... Теперь, Анютка, помолись да и пойдемъ...

— Какъ молиться-то, я не знаю... Меня мамка не учила... Христа ради просить «копеечку, хлѣбца» учила, а молиться—нѣтъ.

— Ну, а въ церкви ты бывала когда?

— Нѣтъ. Въ церкви не бывала; мы всегда у дверей становились, ждали, чтобы народъ выходилъ, тогда мы съ мамкой и просили—Хри-и-ста ра-а-ди, кормилецъ, копеечку... Голодны, милай, два дня не ѣмши...

— Ну, что съ тебя взять-то, съ паскуды,—ласково погладилъ ее Иванъ.—Съ тебя и Богъ не спроситъ. Перекрестись да поцѣлуй крестъ. Вотъ такъ. Скажи: со святыми упокой!

— Со святыми упокой...

— И пойдемъ... Некогда намъ прохлаждаться здѣсь.

Только къ вечеру этого дня «Иванъ-Прощай» добрался до одинокаго поселка, почти все время неся на рукахъ уставшую Анютку. Онъ подождалъ, пока стемнѣло и въ окошкахъ засвѣтились огоньки. Словно почуявъ его, собаки издали подняли оглушительный лай. Спавшая, прижавшись своей щекой къ его лицу, Анютка всполошилась...

— Ой, боюсь, дяденька... боюсь...

Но Иванъ цыкнулъ на нее.

— Не до тебя теперь... Нишкни...

И направился къ крайней, стоявшей у самаго лѣса избѣ.

— Кто крещеный?—вышла на его стукъ какая-то баба.

— Не пустите ли переночевать?.. Притомился съ дѣвочкой-то,—показалъ онъ на задремавшую опять Анютку.

Одного бы, пожалуй, и не пустили.

— Ступай... Только ужъ прости: ѣсть у насъ и у самихъ нечего.

— У меня деньги—лишь бы гдѣ купить было.

— Дѣвчонка-то твоя? Ишь притомилась сердечная!

— Нѣ, не моя. Гдѣ охотнику еще съ дѣтьми возиться... Такъ, приблудная... Мать ея померла въ лѣсу — ну, не оставлять же дитё волкамъ. Взялъ я ее—можетъ, кто приметъ... Дѣвчонка здоровенькая, Анюткой зовутъ.

— Кому у насъ принять-то? Сами бозныть живемъ какъ! Надо тебѣ по начальству объявиться съ ней—ну, тогда возьмутъ ее въ городѣ... Либо въ волость иди.

Но ни въ городъ ни въ волость «Иванъ-Прощай» итти не пожелалъ.

— Что съ тобой дѣлать, сирота... Коли Богъ тебя послалъ ко мнѣ, ужъ и оставайся со мною. Авось, не подохнемъ. А? Вдвоемъ-то—въ лѣсу... Тебѣ не страшно? Гудетъ-то вѣдь лѣсъ, слыхала?

— Я съ тобой, дяденька, не боюсь...

— А если волки придутъ?

— Ты ихъ, дяденька, изъ ружья всѣхъ застрѣлишь,—смѣялась Анютка, не выпуская пальца.

И «Иванъ-Прощай» окончательно развеселился.

VI.

Лѣсъ молчитъ.

Каждою вѣткою, каждымъ листомъ своимъ молчитъ. Тишина будто въ церкви. Кажется, въ лазурной глубинѣ совершается незримое таинство и благоговѣйно замерло все внизу. Какъ завороженныя, стоятъ громадныя старыя сосны. Траву между ними тоже заколдовало — не шелохнется. И жарко же, такъ жарко, что съ полянъ вольная птица въ темень спутавшейся чащи попряталась; бѣлки точно и не бывало совсѣмъ. Зноемъ и лѣсъ одолѣло— тѣни много, а прохлада вся въ овраги ушла, гдѣ робко-робко по песчаному дну куда-то пробирается смирившійся уже ручей и зеленымъ облакомъ раскинулась надъ нимъ пышная, пушистая, нѣжная поросль. Цвѣтовъ-то, цвѣтовъ по обрывамъ: алые, голубые, бѣлые, желтые, одинъ краше другого, переплелись, сбились красивыми узорами, разбѣжались по сторонамъ кучками, всползли наверхъ одиночками и оттуда, застѣнчиво улыбаясь, засматриваются въ безмолвныя полянки. И какихъ только нѣтъ!.. Вонъ одни любопытно вскочили торчкомъ на тонкихъ стебелькахъ; другіе точно въ истомѣ безсильно опустили головки, вѣнчики, кисти и колокольчики. Розовымъ дождемъ осыпало кусты шиповника; кажется, что его первыя розы жадно раскрыли алыя губы и не надышатся. Словно милліоны невидимыхъ кадилъ струятъ ѳиміамъ въ величавомъ храмѣ стараго лѣса. А незримое таинство все совершается въ недосягаемой вышинѣ, гдѣ солнце горитъ и блещетъ золотою мистическою чашей въ рукахъ невѣдомаго первосвященника...

Только въ одномъ уголкѣ слышится тихій, будто крадущійся смѣхъ.

Не узнать теперь Анютки. Засмуглѣло ея блѣдное личико, разгорѣлись прежде такіе тусклые глазки, улыбка не сходитъ съ губъ — во-всю бы расхохоталась, такъ что вздрогнули бы голубые колокольчики и проснулась птица въ лозникѣ—да не хочется дѣвочкѣ будить Ивана. Старый «дѣдушка» выбралъ себѣ самое прохладное мѣстечко у ручья,—тамъ, гдѣ откосы оврага немного пораздвинулись, да и легъ, положивъ шапку подъ голову. Точно матерому сытому волку—хорошо спится бродягѣ... Анютка сначала на него бросала цвѣты. Изъ одного выползла зеленая крохотная букашка, и ребенокъ слѣдитъ за нею, затаивъ дыханіе. Козявка взобралась было на одинъ волосъ, да упала оттуда, едва выпуталась изъ свалявшихся и уже отросшихъ сѣдинъ и, распустивъ едва замѣтныя крылья, нѣжныя-нѣжныя, поднялась и тихо опустилась на носъ «Ивану-Прощай». Тутъ уже дѣвочкѣ было молчать не подъ силу. Она засмѣялась громко и захлопала въ ладоши...

— Ишь... Неладная!—проснулся Иванъ, улыбаясь ей.—Спокою на тебя нѣтъ.

— Смѣшно, дѣдушка...

— Чего такого?

— Въ волосахъ-то, въ волосахъ...

Онъ бросилъ съ себя цвѣты и хотѣлъ было поймать дѣвочку. Анютка съ крикомъ бросилась отъ него въ лозникъ, зашуршала въ немъ, дыша часто-часто, и скоро уже по другую сторону ручья послышалось ея:

— Пымай, пымай меня, дѣдушка!

— Очень мнѣ нужно ловить... Ты бы съ бѣлками играла—какъ разъ тебѣ подъ пару.

— Я съ тобой хочу...

— Ну, ладно, подождешь...

А самъ тихо крадется, удерживая дыханіе.

— Дѣдушка, гдѣ ты?—слышится ея тревожный голосъ.—Дѣдушка... боюсь!

— А вотъ я тебя!—кричитъ онъ, смѣясь и схватывая барахтающееся дитя.—Что, пымалъ?

— Пымалъ... Ой, пымалъ, дѣдушка...

— Опять вся смокла въ водѣ... Ишь, что лягушка!..

Но Анютка, уже переставъ отбиваться, охватила крошечной ручонкой жилистую, загорѣвшую и потрескавшуюся шею «Ивана-Прощай» и, щекой къ щекѣ прижавшись къ нему, пристаетъ:

— Дѣдушка, а дѣдушка... Представь волка.

— Еще чего захотѣла,—недовольно ворчитъ онъ.

— Представь... Что тебѣ... Ну, право... А я зайцемъ буду... Заинька-заинька, длинныя ушки...

— А какъ я тебя съѣмъ, глупую.

Онъ нарочно хмурится и урчитъ на нее.

— Ты не по-настоящему... Ну, што же...—И она, перегибаясь, умильно заглядываетъ ему прямо въ глаза подъ грозно нависшія сѣдыя брови...

— Что ужъ съ тобой, съ паскудой...—Онъ осторожно спускаетъ ее на землю.—Ну, смотри,—ты оттуда иди...

А самъ забрался въ лозникъ и шиповникъ. Колючки царапаютъ ему лицо и руки, но «Ивану-Прощай» не до того совсѣмъ. Онъ легъ на брюхо и зорко смотритъ... Кабы не глаза его—можно было бы испугаться этой сѣдой и страшной кудла-

той головы... Для полноты иллюзіи «Иванъ-Прощай» щелкаетъ зубами. Анютка, входя въ роль зайца, начинаетъ прыгать около, пощипывая травку и хлопая надъ головкой ладонями, замѣняющими въ данномъ случаѣ заячьи уши. Она притворяется, что совсѣмъ не замѣчаетъ бродягу.

— А я тебя не вижу, дѣдушка...—не выдерживаетъ она, но въ эту самую минуту волкъ выскакиваетъ изъ своей засады и кидается за зайцемъ. Зайчикъ катится внизъ къ ручью, живо перебѣгаетъ черезъ него и взбирается на противоположный откосъ, но куда же ему бѣдному уйти отъ звѣря! Волкъ на четвереньках, все щелкая зубами, гонится за нимъ, настигаетъ, опрокидываетъ и даже схватываетъ за горло горячею пастью.

— Что, спужалась?—смѣется тихимъ и добрымъ смѣхомъ матерой волкъ.

— И нисколечко... А зачѣмъ волкъ зайчей ѣстъ, дѣдушка?

— Онъ травы не можетъ... Ему мяса надо. Зайца, собаку, курицу, тебя—ему, братъ, все по зубамъ. Онъ всему радъ. Ему такъ ужъ отъ Бога полагается.

— Живыхъ ѣстъ?

— Живыхъ... Вотъ такъ цоппетъ и сейчасъ давай драть...

— А имъ больно?—заинтересовалась Анютка.

— Кому? Ахъ ты, глупая, глупая!

— Зайчамъ?

— Еще какъ больно-то! Смерть-то всякому страшна.

— Они кричатъ?

— Ужъ тутъ кричи, не кричи—все одно. Къ волку попалъ на зубы—онъ не помилуетъ.

Анютка задумалась.

— Знаешь, дѣдушка, что я тебѣ скажу теперь.

— Ну?

— Не будемъ больше такъ играться: не хочу, чтобы ты волкомъ былъ. Волки злые, а ты ишь добрый,—и она схватилась за его жесткую, словно всю въ узлахъ, руку.

— Я—добрый?.. Эхъ ты...—«Иванъ-Прощай» помолчалъ-помолчалъ... Что-то словно подступило у него къ самому горлу.—Для тебя-то добрый...—Онъ не то заикнулся, не то всхлипнулъ...—Я, братъ Анютка, когда такой, какъ ты, былъ, такъ со мной никто ласковаго слова не сказалъ. Изъ синяковъ не выходилъ. Меня, рабеночкомъ-то, скалкою били... А то я—добрый!.. Отчего мнѣ злымъ быть, безо всякой причины ежели? Эхъ ты, дура ты, дура, Анютка. Тоже дыханіе прозываешься... Что съ тебя и взять. Можетъ, и я былъ бы...—Но онъ не оканчиваетъ мысли...

— На ручки!—тянется къ нему вверхъ Анютка, становясь на носки и хватая его за локоть.—Домой, на ручки!

— Что?—точно просыпается онъ отъ забытья.

— Хочу на ручки... Устала, возьми, дѣдушка.

— Прыгала, прыгала блоха, да и на руки захотѣла... Замучилась. А я вотъ не возьму тебя.

— А возьмешь!—лукаво смѣется ребенокъ.—Я попрошу, ты и возьмешь.

— Что съ тобой дѣлать-то, развѣ лозу сорвать да рубашонку тебѣ заворотить. Ну, ужъ ступай сюда.

И онъ, поднявъ ее, идетъ съ нею въ глубь попрежнему торжественно безмолвствующаго лѣса. Весело старику-бродягѣ, когда заморившійся ребенокъ, мало-по-малу смыкая потускнѣвшіе глазенки, засыпаетъ и ровно-ровно начинаетъ дышать у него на рукахъ. Совсѣмъ тихо переступаетъ тогда «Иванъ-Прощай», усмѣхаясь и ея разинутому рту и безсильно свѣсившимся ножонкамъ, покрытымъ пылью и потемнѣвшимъ отъ солнца.

— Ишь, тоже существо!—удивляется онъ.—И кому ты только нужна, дрянь этакая?—А самъ еще тише идетъ и напряженно въ одномъ положеніи держитъ вытянутыя руки, чтобы какъ-нибудь ненарокомъ не разбудить Анютку.

VII.

Посреди лѣса—зеленая поляна, черезъ нее—тропа. Тропу эту проложилъ «Иванъ-Прощай». Она уперлась въ какую-то кучу хвороста, вороньимъ гнѣздомъ торчавшую во всѣ стороны. Сразу и не разберешь, что это такое. Для костра—слишкомъ велика, для жилья—ужъ и совсѣмъ безобразна. Около вбитъ въ землю колышекъ, къ колышку привязана длинная веревка, а на ней, поматывая сверху внизъ неуклюжей башкою и урлыкая потихоньку, бѣгаетъ все по одному и тому же кругу крошечный медвѣжонокъ. Вотъ онъ словно что-то почуялъ, сѣлъ на заднія лапы, опустилъ переднія и, поднявъ голову кверху, нюхаетъ воздухъ и ворчать пересталъ. Должно-быть, не ошибся, запищалъ жалобно и давай на веревкѣ порываться въ ту сторону, гдѣ узенькая тропка пропадала въ глубинѣ лѣса. Тамъ между

сѣрыми стволами показалось что-то темное; старыя вѣтки, лежавшія на землѣ, захрустѣли подъ чьими-то шагами. Звѣренышъ отъ нетерпѣнія пробѣжался еще разъ и два и три вокругъ колышка, пока, запутавшись и сбившись, совсѣмъ не обвертѣлъ веревку, такъ что ему и шагу уже нельзя было сдѣлать. На полянку вышелъ «Иванъ-Прощай» съ своею ношей. Медвѣжонокъ, скосивъ голову, съ уморительно серьезнымъ видомъ слѣдилъ за нимъ.

— Ну, что, Мишка, опять, дуракъ, зацѣпился. Ахъ ты, несмышленышъ!

Бродяга снялъ веревку съ колышка, медвѣжонокъ сейчасъ же кинулся ему подъ ноги и затормошился между ними, обхватывая ихъ своими лапами и изъявляя такимъ образомъ намѣреніе взлѣзть по нимъ выше.

— Хлѣба, подлая душа твоя, хочешь. Знаю я тебя. Небось, какъ сытъ, такъ сейчасъ же прочь бѣжать.

Анютка проснулась и протирала себѣ глаза кулачонкомъ.

— Семья тоже! — смѣялся «дѣдушка». — Братъ да сестрица—одного поля ягоды. Бродягѣ-то, поди, другихъ и не полагается, — вздохнулъ онъ. — Не было заботы, такъ завелъ себѣ.

Медвѣдя онъ добылъ крошечнымъ, убивъ его мать, шкура которой служила дѣвчонкѣ постелью. Взятый еще сосункомъ, звѣренышъ продолжалъ этотъ бурый мѣхъ считать за нѣчто живое и родственное ему. Онъ каждый разъ являлся, укладывался на него рядомъ съ Анюткой и сосалъ шерсть, перебирая лапами и сонно урча про себя. Громадное воронье гнѣздо теперь, когда въ него вползла дѣ-

вочка, оказалось жильемъ. Иванъ-бродяга сначала спалилъ на этомъ мѣстѣ траву, утопталъ землю, вбилъ въ нее толстую жердь и прислонилъ къ ней отовсюду другія, потомъ онъ покрылъ ихъ сверху цѣлыми вязанками хвороста, свѣжихъ вѣтвей, валежника и засыпалъ землей, на которой кое-гдѣ уже стали пробиваться зеленые ростки. Къ великому своему восторгу, Анютка разъ замѣтила даже нѣсколько блѣдныхъ голубыхъ цвѣточковъ, распустившихся между ними.

Теперь шалашъ «Ивана-Прощай» былъ даже не чуждъ нѣкоторой роскоши. Онъ смотрѣлъ на свое жилье съ гордостью. Земля была покрыта медвѣжьими и волчьими шкурами, сверху висѣли бѣличьи—пучками. За ними, недѣли въ двѣ разъ, являлся сюда изъ поселка скупщикъ, знать не хотѣвшій о прошломъ бродяги. Когда его спрашивали, кто этотъ лѣсной отшельникъ, онъ отзывался кратко: «вольный», прибавляя всякій разъ къ этому: «только и добрый же—дѣвочку одну пріютилъ и кормитъ».

— Дѣдушка, а дѣдушка?—послышалось изъ шалаша.

— Чего еще?

— Мишка опять у меня здѣсь.

«Иванъ-Прощай» наклонился и въ темнотѣ разглядѣлъ Анютку, лежавшую на медвѣжьей шкурѣ, обнимая звѣреныша, тормоша его, при чемъ тотъ ласковымъ ворчаніемъ протестовалъ противъ этого нарушенія его покоя.

— А ѣсть хочешь?

— Хочу!

— То-то... Не подумай о васъ, поколѣли бы вы оба!

«Иванъ-Прощай» ушелъ въ лѣсъ и черезъ полчаса вернулся съ какою-то птицей въ рукахъ. У него было не мало разставлено силковъ, въ которые постоянно попадалась дичь. Швырнувъ добычу въ траву, онъ взялъ изъ шалаша котелокъ, стоившій ему цѣлой медвѣжьей шкуры, налилъ воды и, въ сторонѣ разложивъ костеръ, сталъ ее кипятить. Хозяйство бродяги было въ блестящемъ состояніи. У него хранился мѣшокъ съ картофелемъ и висѣли подъ самымъ верхомъ жилья длинныя вязанки имъ же самимъ высушенныхъ лѣсныхъ грибовъ. Короваи хлѣба онъ держалъ въ особомъ мѣстѣ. За ними пришлось ему подняться по дереву, корявому и старому, полъ-поляны этой прикрывавшему своею тѣнью. Только добравшись до дупла, онъ снялъ съ него имъ же самимъ сдѣланную дверцу и вытащилъ оттуда громадную и черствую ковригу.

Когда Анютка, опять было съ-устали заснувшая, выбралась наружу, вода въ котелкѣ весело булькала, изъ нея торчали вверхъ лапы уже варившейся, ощипанной птицы, а «Иванъ-Прощай», любуясь огонькомъ, лизавшимъ черный закопченый чугунокъ, крошилъ картофель...

— Скусно! — даже зажмурилась дѣвчонка.

— А я тебѣ не дамъ, — смѣялся бродяга.

— А дашь. Вотъ и самъ ѣсть не будешь, — мнѣ дашь. Ужъ я знаю.

— Ишь ты какую власть забрала... Ты вѣдь вчера ѣла, ну и довольно. Сегодня тебѣ не полагается.

— Слушай, дѣдушка,—задумалась она.—О чемъ я хотѣла спросить тебя. Ты всегда жилъ въ лѣсу?

«Иванъ-Прощай» нахмурился и промолчалъ.

— Въ лѣсу хорошо,—разсуждалъ ребенокъ.—Никто не бьетъ. А мамка у меня лѣса боялась. Такіе, говорила она, злые люди бываютъ въ лѣсу... Про́клятые... Какіе это злые люди, про́клятые, дѣдушка?

Иванъ и еще пуще потемнѣлъ.

— Кто ихъ проклялъ... Дѣдушка, а дѣдушка... Боженька ихъ проклялъ? А? Будутъ они въ адѣ мучиться.

— Не дай Богъ тебѣ ихъ встрѣтить, Анютка,—положилъ онъ руку на ея всклокоченную головенку.—Въ лѣсу такіе бываютъ, что хуже звѣря: звѣрь, коли сытъ, помилуетъ, а эти...

И онъ засмотрѣлся въ огонь.

— Что эти?—съ дѣтскимъ любопытствомъ тормошилъ его ребенокъ.—Что эти, ну же, дѣдушка, злодѣи-то?..

— Отстань!—крикнулъ ей бродяга.—Уйди... убью! Чего бередишь-то!

Дѣвочку что-то будто въ сторону швырнуло.

Передъ ней уже не сидѣлъ, а стоялъ совсѣмъ другой «дѣдушка». Глаза его точно разомъ ввалились и изъ своихъ впадинъ горѣли недобрымъ огонькомъ, сѣдые волосы на головѣ копромъ стали, по лицу бѣжала судорога. Грудь дышала тяжело, онъ даже схватился за нее. И рука въ кулакъ сжалась: кажется, попадись кто—на мѣстѣ расшибъ бы. Хотѣлъ что-то крикнуть еще, но только въ горлѣ у него захрипѣло.

Анютка въ слѣпомъ страхѣ пятилась.

«Иванъ-Прощай» постоялъ-постоялъ, глядя куда-то въ глубину лѣса черезъ ея голову, потомъ молча сѣлъ къ огню и заворочалъ ярко пылавшіе уголья. Даже выползшій было медвѣжонокъ и тотъ струсилъ, поджалъ хвостъ, забѣжалъ за шалашъ и повизгиваетъ оттуда.

— Про́клятые?..—заговорилъ про себя «Иванъ-Прощай».—Кто ихъ проклялъ-то? Кто, Богъ что ли? Богъ-то всѣхъ вонъ простилъ... Ну...— сумрачно позвалъ онъ ее.—Иди... ничего.

— Боюсь.

Иванъ еще ниже опустился къ огню. «Старое сказывается,—соображалъ онъ про себя.—Только рабеночка напугалъ». И въ то же время опять откуда-то, словно со стороны, злоба налетаетъ и кружитъ.—«Про́клятые»! Кто насъ проклялъ? Злодѣи! Родились такими, что ли?

— Боюсь...—дрожала Анютка.

— Ну... ладно, буде! А еще говоришь, что любишь дѣдушку. Эхъ, ты!—не глядя на нее, точно оправдывался онъ.—Иди, иди сюда...

Но та пристально смотрѣла на него, не подходя.

— Ишь варево-то какое вышло. Скусное!—совсѣмъ оправился «Иванъ-Прощай». Птицу-то ы за лапки и вонъ. Ей особая честь—пущай въ травѣ лежитъ, пока простынетъ. А то ротъ обожжетъ.

Анютка придвинулась къ нему, но еще съ видимымъ недовѣріемъ.

— Чего ты спужалась, дура этакая! Подитко ложку возьми да и мою подай. Ахъ ты, глупая, глупая. Нешто я тебя обидѣть могу?

— Ужъ очень страшный ты былъ. Точно чужой совсѣмъ...

— Это я нарочно. Показалъ тебѣ, какіе злые люди въ лѣсу водятся. Волка тебѣ представлялъ, ну, вотъ и злого человѣка тоже.

— Я волка не боюсь, а злого человѣка спужалась,—уже успокоенная, садилась она къ котелку.

— Ихъ, братъ Анютка, пожалѣть надо. Ты думаешь, легко это злымъ-то быть? Ой, какая это трудная должность у Бога. Пока злымъ сдѣлаешься, намучишься. Не сразу-то вѣдь зубами за горло. А «проклятые»?.. Что-то не слыхалъ я отъ попа про такихъ. Богъ-то, должно, никого не проклинаетъ. Это мы смотримъ близко, и кажется намъ нивѣсть какое зло... А Ему сверху—поди вотъ какимъ малымъ, что твоя соринка видится оно... Сказываютъ, дѣтская молитва доходчива. Вотъ и ты молись, Анютка: «помилуй, Господи, злыхъ людей». За добрыхъ-то нечего, добрыхъ и безъ того Онъ помнитъ. Ихъ и миловать-то не за что...

VIII.

Такія вспышки все рѣже и рѣже случались съ «Иваномъ-Прощай». Посреди лѣта, когда наступили жаркіе дни, а небо такъ посинѣло, что даже заволакивавшія его порою облака насквозь голубѣли, бродяга и совсѣмъ утихъ. Смотрѣлъ ли онъ на Анютку, возившуюся съ ворчавшимъ медвѣжонкомъ, слушалъ ли лѣсную пичугу, меланхолически посвистывавшую въ вершинѣ дерева, сидѣлъ ли у ярко разгоравшагося костра,—морщины его сами разглаживались и какая-то сладостная истома охватывала старика. Точно совсѣмъ другимъ сдѣлался онъ; даже чуждая ему тихая улыбка не покидала

лица. Только порою во снѣ чудились ему душный острогъ, высокія стѣны, острые частоколы, звонъ кандаловъ на ногахъ и рѣзкій, словно застывающій въ холодномъ зимнемъ воздухѣ окрикъ конвойныхъ. Гнали его опять по какимъ-то дорогамъ далеко-далеко, а когда онъ приставалъ—тяжелый прикладъ опускался на его сгорбившуюся спину. Слышалась ему долгая мучительная пѣсня,—та, которую пѣли такіе же бродяги за ржавыми рѣшетками,—пѣсня, вся дышавшая страстною тоскою по волѣ, бившаяся, какъ раненая птица о сырыя стѣны запертыхъ келій и замиравшая словно въ агоніи. Ей подстать были и звонъ кандаловъ, и гулко раздававшіеся по длиннымъ коридорамъ шаги сторожей, и щелканье замковъ, и крики часовыхъ во дворѣ... А то вдругъ, словно въявь, проваливалась подъ нимъ земля чернымъ колодцемъ, и изъ его тьмы звучала ему та же пѣсня со стукомъ молотковъ, съ лязганіемъ цѣпи, подымавшей вверхъ желѣзныя бадьи, и съ глухимъ отголоскомъ взрывовъ, когда громадные темные комья породы, откалываясь, падали внизъ въ такія же темныя лужи, вѣчно стоявшія въ штольнѣ. Съ холоднымъ потомъ на лбу, весь дрожа и задыхаясь, просыпался «Иванъ-Прощай» и, широко раскрывъ глаза, долго смотрѣлъ во мракъ передъ собою, ничего не понимая. Только мѣрныя дыханія Анютки и медвѣжонка да шумъ лѣсныхъ вершинъ мало-по-малу возвращали его къ дѣйствительности. Онъ тихо выходилъ изъ шалаша. Ночь сквозь вѣтви деревьевъ смотрѣла на него тысячами яркихъ звѣздочекъ; холодокъ струился между едва различавшимися стволами вмѣстѣ съ запахомъ смолистой коры и грибовъ. Откуда-то

ропталъ ручей, и, вытащивъ медвѣжью шкуру изъ своего логовища, «Иванъ-Прощай» сладко раскидывался на ней, радостно дыша волей и свѣжестью сонно колыхавшагося бора. Живо и крѣпко засыпалъ старый бродяга до самаго утра, когда его подымалъ на ноги громкій хохотъ Анютки или неуклюжая ласка медвѣжонка, толкавшаго своею тяжелой, перевѣшивающею все его тѣло башкою кудлатую сѣдую голову Ивана. Въ дни, слѣдовавшіе за такими кошмарами, онъ былъ особенно веселъ, не уходилъ на промыселъ, игралъ съ Анюткою и прислушивался къ тысячамъ голосовъ, какими говорилъ ему старый лѣсъ свои заповѣдныя тайны. Онъ не думалъ о томъ, что будетъ впереди. Скитальческая жизнь, полная неизвѣстности и неожиданныхъ перемѣнъ, пріучила его высоко цѣнить и пользоваться именно сегодняшнимъ днемъ. Солнце свѣтитъ, лѣсъ дышитъ сладкой истомой, вода весело булькаетъ въ котелкѣ, дѣвчонка разсыпается серебристымъ смѣхомъ, звѣренышъ топчется у него подъ локтемъ,—чего же больше? И слава тебѣ, Господи, и знать не нужно, что́ принесетъ съ собою невѣдомое, темное «завтра». Можетъ-быть, такое же вёдро, а то тюрьму и неизбѣжныя плети.

Не всегда, впрочемъ, теплились и голубѣли ясные дни. Въ августѣ настало иное время.

Случалось «Ивану-Прощай» просыпаться отъ насквозь пронизывавшей его сырости. Низко ползли по небу тучи, чуть не задѣвая вершины лѣсныхъ великановъ, на сырой корѣ которыхъ проступали точно капли холоднаго пота. Темный боръ мертвѣлъ; пряталась бѣлка, смолкала птица. Медвѣжонокъ зары-

вался въ мѣхъ и недовольно урчалъ въ немъ. Зловѣще пробѣгалъ вѣтеръ по вздрагивавшимъ вѣтвямъ, и вслѣдъ за нимъ падалъ дождь, покрывая все кругомъ скучнымъ, однообразнымъ шорохомъ. Иванъ съ Анюткой не выходили въ такія погоды изъ своего жилья. Заслонивъ и завѣсивъ входъ, они просиживали цѣлые часы вдвоемъ, благо тутъ было тепло и сухо, пока дождь не переставалъ и солнышко не проглядывало, осыпая брильянтами мокрые листья и вѣтви, яхонтами и рубинами зажигая сочную и пышную траву...

— Завтра по грибы пойдемъ, Анютка. Теперь гриба много будетъ.

— И земляники?

— Ну, нѣтъ, земляникѣ дождь нехорошо. А вотъ скоро поспѣетъ черника и налетитъ въ лѣсъ дрозда видимо-невидимо, я тебѣ парочку поймаю.

— Пымаешь?—вся горѣла отъ ожиданія дѣвчонка

— Да... Только что ты съ ними дѣлать будешь?

— Наиграюсь, да на волю и пущу,—радовалась та.—Дрозду-то въ клѣткѣ не весело, дѣдушка?

— Кому въ клѣткѣ весело! Ты у меня умная, сердешная. Приходи ко мнѣ, какъ меня въ клѣтку посадятъ.

— Тебя!—И Анютка расхохоталась, всплеснувъ руками.

— Да, меня. Чего ты?

— Развѣ ты, дѣдушка, птица, чтобы въ клѣткѣ-то?..

— Птица не птица... Ну, да куда тебѣ понять!..

И черника поспѣла, и дрозды прилетѣли. Лѣсъ опять заговорилъ и заголосилъ. Словно не боясь

дѣвочки, темныя птицы у самыхъ ногъ ея порскали изъ травы. Дни проходили за днями, похожіе одинъ на другой, свѣтлые, веселые, радостные. Только ночи стали холоднѣе, такъ что нашимъ пустынникамъ приходилось все больше и больше кутаться. Пошире разбилъ свой шалашъ «Иванъ-Прощай» и весь его покрылъ дерномъ; вечеромъ онъ раскладывалъ внутри костеръ и плотно закрывалъ выходъ, чтобы тепло не уходило въ остывавшую поляну. Случалось теперь подъ утро всѣмъ троимъ—бродягѣ, дѣвочкѣ и медвѣжонку—приваливаться тѣснѣе одинъ къ другому. Дѣдушка собирался итти съ добычей въ поселокъ—лопатъ взять оттуда.

— Зачѣмъ тебѣ дѣдушка лопаты?

— Скоро зима придетъ, а допрежь зимы осень будетъ—гнилая да холодная. Ну, мы отъ нихъ въ землю уйдемъ, зароемся.

— Какъ червяки?—добивалась Анютка.

— Какъ червяки, либо кроты. Имъ хорошо въ землѣ—тепло.

— А тамъ ничего не видно, дѣдушка.

— Лучину жечь станемъ. Небось. Я обо всемъ подумалъ. Не твое горе. Вотъ вырастешь здѣсь да окрѣпнешь, ну, тогда ты меня беречь будешь, если раньше...

— Что раньше?

Но вмѣсто отвѣта «Иванъ-Прощай» только отмахивался и отходилъ въ сторону.

И дни уже становились короче. Еще недавно тихіе золотистые, вечера отгорали теперь въ алыхъ тонахъ, въ багрянцѣ, словно тамъ, на западѣ, раскидывалось на полміра пожарище. Чаще и чаще

солнце заходило въ тучи, точно какой-то кровавый, воспаленный глазъ показываясь въ промежуткахъ между ними. Утро тоже наступало позже, и такія же красныя зори охватывали полымемъ вершины деревьевъ.

— Цвѣтовъ-то мало стало!—жаловалась дѣвчонка.

— Скоро и совсѣмъ не будетъ. Ишь одинъ курослѣпъ таращится....

Теперь и Анюткѣ скучнѣе. «Иванъ-Прощай» цѣлыми днями пропадалъ на промыслѣ. Дѣвочка у себя въ шалашѣ слышала только порою сухія пощелкиванія въ лѣсу... «Дѣдушка стрѣляетъ, — сообщала она медвѣжонку. — Слышь, Мишка, какъ онъ тамъ?» Но и Мишка теперь страннымъ дѣлался. Шерсть его всклочилась и погустѣла, самъ онъ подросъ и рѣже урчалъ ласково, а больше убѣгалъ въ лѣсъ и охотился тамъ за свой собственный счетъ или набрасывался на всякую ягоду, къ осени устилавшую теплыя поляны и темные скаты тихихъ овраговъ. Возвращаясь назадъ сытый и отяжелѣвшій, онъ уже не игралъ съ Анюткой, а заваливался спать. Разъ какъ-то она захотѣла растормошить его и, набѣжавъ, схватила Мишку за уши. Но звѣренышъ вдругъ зарычалъ, точно на совсѣмъ невѣдомомъ языкѣ заговорилъ съ нею.

— Чего ты, Мишь, а Мишь?—приставало къ нему смѣющееся дитя.—Нако-ся какой сталъ, гордый... Ишь ты!—и опять протянула руку поласкать его.

Медвѣжонокъ вдругъ сѣлъ на задпія лапы и оскалился.

— Ну, глупый!..—И вдругъ дѣвочка покатилась въ траву отъ удара. Мишка смазалъ ее по лицу

уже довольно сильною лапой. Когда «Иванъ-Прощай» вернулся, вся щека у Анютки распухла.

— Что это ты?—встревожился онъ...—Э, да и слѣды есть; ишь шельма!—У самаго глаза когтями онъ тебя. Это, навѣрное, выкормокъ... Ну, я ему задамъ.

— Не тронь, дѣдушка!—взмолилась дѣвочка.

— Ладно, теперь не научишь, потомъ и совсѣмъ поздно будетъ.

«Иванъ-Прощай» выломалъ жердь и только хотѣлъ было ею охаживать Мишку, какъ онъ оскалился и, зарычавъ, кинулся кусать ему ноги.

— Ахъ ты, расподлецъ этакой!—И «Иванъ-Прощай» уже въ серьезъ сталъ наказывать звѣреныша.—Я тебѣ, шельма, задамъ... Ты у меня будешь помнить... Ишь каторжный...

Потомъ обезкураженнаго звѣреныша онъ привязалъ на веревку, легъ отдохнуть и, проснувшись, только половину ея увидалъ у колышка, вбитаго въ землю. Медвѣжонокъ, оказалось, перегрызъ ее и убѣжалъ куда-то. «Иванъ-Прощай» сталъ его кликать, кликала и дѣвочка. Откуда-то издалека послышалось отвѣтное рычаніе. Оба они пошли на голосъ, но Мишка больше не отзывался Ивану... И день прошелъ, и два—звѣреныша не было. Только на третій онъ показался было между стволами деревьевъ, направляясь къ лачугѣ. Дѣвочка обрадовалась товарищу и позвала его. Онъ сталъ подбѣгать еще скорѣе, да на бѣду вышелъ изъ шалаша «Иванъ-Прощай». Мишка остановился, сѣлъ и, точно размышляя, взялъ лапу въ ротъ.

— Ну, что, бродяга, вернулся... Хлѣбца захотѣ-[illegible], вѣрно. Ну, иди, иди сюда, подлая душа твоя...

Но Мишка, очевидно, оскорбленный въ лучшихъ своихъ чувствахъ и заподозрѣнный въ чревоугодіи, заворчалъ обиженно и, повернувшись, скрылся въ лѣсу... Прошла недѣля, его не было.

— Куда онъ спрятался, дѣдушка?—спрашивала Анютка.

— Бродяга, бродягой и остался!.. Выросъ, ну и ушелъ. Теперь за зиму одичаетъ—шабашъ, братъ Анютка. Нужно тебѣ новаго товарища доставать. Не плачь... Я тебѣ такого раздобуду, куда умнѣе Мишки будетъ.

Ночи скоро похолодѣли и дни тоже остыли. Въ оврагахъ по утрамъ бѣлымъ паромъ лежала густая мгла. Сѣрый туманъ меледился между деревьями, береза пожелтѣла, клены на другой полянкѣ точно сплошь облило кровью. Красный листъ словно отъ стужи трепеталъ и вздрагивалъ у красной коры... Умирая, онъ отсыхалъ, отрывался и долго, высохшій и легкій, носился въ воздухѣ, прежде чѣмъ упасть и схорониться въ тоже блекнувшей травѣ.

— Холодно, дѣдушка... Ужли больше не будетъ тепло?

— А вотъ погоди бабьяго лѣта, оно пригрѣетъ, а потомъ мы съ тобой и зарываться станемъ. Тогда настоящей зимѣ чередъ.

IX.

И бабье лѣто пришло и ушло. Въ лѣсу стало такъ холодно, что «Иванъ-Прощай» уже помышлялъ, какъ бы до весны сдать Анютку въ поселокъ. Очень бѣденъ только былъ послѣдній. У кого тамъ могла прокормиться сирота? Обитатели поселка на зиму

начинали уже мѣшать муку съ сосновой корой да мякиной. И бродягѣ было бы скучно безъ ясныхъ и любопытныхъ глазокъ, такъ довѣрчиво глядѣвшихъ въ его сумрачную душу, безъ смѣха, всегда такъ радостно звучавшаго въ однообразныхъ потемкахъ его одинокаго существованія. Еще молчаливѣе казался теперь засыпавшій на зиму лѣсъ. Сосны роняли хвою, березы стояли совсѣмъ желтыя, лозникъ по оврагамъ весь уже осыпался, и на шиповникѣ вмѣсто пышныхъ алыхъ розъ торчали одни шипы. Птицы стая за стаей снимались съ сырыхъ низинъ и улетали далеко-далеко, оглашая громкими, точно прощальными криками поднебесье. По утрамъ изморозь охватывала дремучее царство стараго бора, и уцѣлѣвшая еще трава дрожала вся въ бѣломъ уборѣ. Зима подкрадывалась тихо...

— Пора, Анютка, и землянку ладить!

— Пора, дѣдушка.

— Вотъ завтра, благословясь, начну. Тепло тамъ будетъ—отъ мороза такъ спрячемся, что онъ и не найдетъ насъ. Станемъ мы съ тобой сидѣть да посиживать, будемъ балакать обо всемъ.

— А ты пѣсни пѣть умѣешь, дѣдушка.

— Ну, какая моя пѣсня! Тебѣ *наша* пѣсня не годится... А сказывать тебѣ я стану много, потому ты—глупая, тебя учить надо, чтобы знала ты, какъ жить и для себя хорошо и людямъ не противно. Міръ, братъ Анютка, та же пучина бездонная. Потерять себя въ ней легко, а ужъ и не найдешь больше. Такъ внизъ и иди: никто не поможетъ. Если по сердцу жить станешь—сердце у другого горячее, не отходчивое, а и безъ него—тоже тошно.

По-хорошему-то—охъ, какъ трудно! Были праведники такіе,—«батька» мнѣ сказывалъ,—ужъ чего лучше: всѣхъ, вишь, они возлюбили и каждому добра желали. Съ прокаженными даже водились...

— Это что такое прокаженные?

— Прокаженные?.. — запнулся «Иванъ - Прощай».—И впрямь не спрошалъ я тогда у «батьки». Прокаженные, которыми всѣ гнушались, которыхъ никуда не пущали, запирали ихъ. Ну, тамъ разные...

Бродяга задумался...

— Нѣтъ, Анютка, дошелъ я. Прокаженные—это тѣ, что подъ замками сидятъ да за рѣшетками. Ихъ по дорогамъ солдаты водятъ. Закуютъ въ кандалы—и гайда! Вотъ этими-то прокаженными,—арестантами, значитъ,—хорошіе-то и не гнушались по добротѣ своей. И что они только ни сдѣлали для людей—не перечесть, а люди-то, подлецы, замѣсто того, чтобы почитать ихъ за отцовъ родныхъ, брали ихъ и мучили, головы имъ рубили и распинали.

— Какъ распинали, дѣдушка?

— Въ ручки и въ ножки вбивали гвозди, вотъ такъ... Поняла?

— Это какъ ты вороненка-то къ дереву прибилъ, въ крылья ему и въ лапы гвоздочками?

— Ну, вотъ. Только я вороненка, потому онъ вредный.

— А еще что ты знаешь про этихъ, про хорошихъ-то людей?

— Ничего, окромя что ужъ очень ласковы они до нашего брата были. Вотъ такъ-то, Анютка, завтра съ тобой станемъ зарываться.

Но зарываться «Ивану-Прощай» не пришлось.

Ночь была холодная, такая холодная, что какая-то птица забилась было во входъ шалаша, а когда Иванъ не отомкнулъ ей, она съ долгимъ и и жалобнымъ крикомъ полетѣла куда-то дальше. Съ вечера доносился издали волчій вой—душу тянулъ онъ. Набѣгавшаяся и уставшая за день Анютка проснулась, приподнялась изъ-подъ медвѣжьей кошмы и захныкала.

— Что это, дѣдушка, не по душу?.. Боюсь!

— Въ лѣсу живешь, а волка боишься! Это—волки, глупая. Осенью-то охотились на всякаго звѣря, тоже промышленники. Ну, а теперь зима скоро—шабашъ, значитъ, они и воютъ, потому имъ изъ лѣса уходить надо—къ жилью ближе.

Опять забилась въ мѣхъ Анютка, и тепло ей стало; только сонъ отлетѣлъ, словно и не было. Мѣрно и ровно дышитъ рядомъ дѣдушка. Спитъ, должно-быть. Тьма такая — зги не видно. Что закроешь, что откроешь глаза—все одно выходитъ. За стѣнами лачуги засвистало и заметалось что-то. Вѣтеръ это проснулся и гонитъ сухой листъ, должно-быть. Слышенъ даже шелестъ его. Поди теперь какъ снѣжинки палые листья кружатся да завиваются... Хорошо, что шалашъ хоть тонко да обложилъ старикъ дерномъ: сквозь не продуваетъ... А то бы бѣда. Чу!.. Что это? Словно бы со стороны урчанье какое-то... И впрямь идетъ по полянѣ тяжелое. Анютка всполошилась.

— Дѣдушка, а дѣдушка!..—зашептала она.

«Иванъ-Прощай» знай себѣ спитъ, даже похрапываетъ. Анютка живо выскочила—и къ нему.

— Ой, боюсь, дѣдушка, боюсь.

— Чего тебѣ, голубенокъ?—приподнялся онъ.

— Послухай-ко....

Старикъ цыкнулъ на нее, чтобы не тормошилась... Дѣйствительно, по полянѣ приближалось что-то къ лачугѣ.

Подняли ли гдѣ матераго медвѣдя изъ уже приготовленной имъ для себя на зиму берлоги охотники, такъ ли онъ бродилъ, благо еще настоящаго мороза не было, но шелъ-шелъ громадный звѣрь по лѣсу и выбрался на Иванову поляну. Думалъ ли онъ, что тутъ-то ему настоящее логово и будетъ—только сталъ онъ со всѣхъ сторонъ обходить ее издали, то воровато таясь за деревьями, то осторожно выступая впередъ. Въ тишинѣ ночи каждый шагъ его слышался въ лачугѣ. Хвоя хрустѣла подъ тяжелой медвѣжьей лапой; сучья сухіе и опавшіе съ деревьевъ ломались подъ нею. И тянетъ Мишку впередъ и боязно ему—вона куча дерну какая-то, не то бугоръ, не то жилье... Чудится ему шопотъ какой-то, носомъ потянетъ—человѣкомъ пахнетъ. Остановился Мишка, о ближайшее дерево потерся, соображаетъ тоже посвоему, что ему дѣлать: уйти ли по-добру, по-здорову, или еще разъ ткнуться туда?

— Медвѣдь и есть!—вскочилъ, прислушавшись, «Иванъ-Прощай».—Ишь, каторжный, самъ идетъ! Ну, что жъ, еще одна шкура-то у насъ на зиму будетъ. Ты бы пока, Анютка, лучину запалила.

Взялъ ружье старикъ,—а заряжено у него оно было всегда,—и выскочилъ вонъ, наскоро отваливъ самодѣльную дверцу, припертую камнемъ. Ночь темная, но все же посвѣтлѣй она, чѣмъ мракъ въ его жильѣ. Въ туманѣ, окутывавшемъ сосны и заполонившемъ всю поляну, онъ

различилъ что-то совсѣмъ черное вдали. Хотѣлъ было тутъ и стрѣлять, да, пожалуй, не убьешь разомъ, онъ и уйдетъ попусту...

— Ишь, расподлая твоя душа... Куда ты, сволочь, забрался? — шепталъ онъ про себя. — Поди-ко поближе, скотина безчувственная, я тебя утѣшу...

Медвѣдь, очевидно, понялъ, что его обижаютъ, заворчалъ, грозно приподнялся, да не выстоялъ и грузнымъ мѣшкомъ опустился опять. Медленно двинулся было назадъ въ лѣсъ, но это никакъ не входило въ расчеты Ивана. Старикъ прицѣлился и выстрѣлилъ. Что-то обожгло Мишку — да не важно. Скорѣй по привычкѣ, чѣмъ угадывая его намѣренія, «Прощай» живо зарядилъ ружье опять, но не успѣлъ еще и вглядѣться въ ночную тьму, какъ звѣрь ужъ полѣзъ на него, обдавая охотника горячимъ и смраднымъ дыханіемъ громадной пасти.

— Ну, куда лѣзешь... дуракъ! Драться хочешь? Иди сюда... Здѣсь просторнѣе...—отступалъ Иванъ.

Медвѣдь—за нимъ. На заднія лапы опять поднялся, смутною громадною тѣнью выросъ надъ бродягою.

Поднялъ тотъ ружье, прямо въ самое рыло «ахнулъ» ему, да, должно-быть, еще разъ тьма ночная сбила, либо рука отъ холода дрогнула—не успѣлъ еще по лѣсу выстрѣлъ прокатиться, какъ подъ страшною тяжестью теплаго и злобно ворчавшаго звѣря «Иванъ-Прощай» упалъ навзничь. Попробовалъ было на локтѣ подняться, но и медвѣдь велъ свою линію—прямо подъ него запустилъ лапу и обнялъ такъ, что кости стараго бродяги хрустнули, а другая лапа къ затылку тянется.

— Христе, Боже мой!... — взмолился было «Иванъ-Прощай». — Анютку-то мою защити! — И глаза закрылъ уже.

Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное...

Только что почтенный звѣрь собрался было содрать шкуру съ головы врага, лежавшаго подъ нимъ, и заворотить ее по обыкновенію ему на лицо, какъ прямо передъ нимъ вспыхнулъ какой-то огонекъ и, разгораясь, побѣжалъ на него... Одурь взяла Мишку. И не сообразилъ онъ, что эта лучина въ рукахъ у дѣвочки, приподнялся и, не оглядываясь назадъ на страшное явленіе, со всѣхъ четырехъ лапъ кинулся въ чащу...

— Дѣдушка!.. — припала къ «Ивану-Прощай» Анютка.

Какъ только вышелъ онъ изъ лачуги, еще страшнѣе стало ребенку, — она вздула огоньку, засвѣтила лучину и показалась съ нею именно въ тотъ моментъ, когда смертельная опасность грозила ея кормильцу.

— Дѣдушка...

Очнулся Иванъ, приподнялся...

— Воды... Скорѣе воды... — хрипѣлъ онъ. Грудь давило, въ глазахъ ходили какіе-то круги, яркими искрами разсыпаясь во всѣ стороны; кружило помятую голову.

Живо сбѣгала дѣвочка. Припалъ онъ къ ковшу, жадно его выпилъ... Хотѣлъ было привстать... Мозжитъ въ костяхъ, болитъ спина, что-то теплое и влажное сочится по ней... То же самое и на плечѣ.

— Ободрало! — словно о комъ-то другомъ говоритъ «Иванъ-Прощай». — И погу смялъ, варнакъ!..

Взялъ ружье и, опираясь на него, какъ о костыль, потянулся къ шалашу... Укрыла старика Анютка, успокоился онъ... Сномъ его сморило, а утромъ всталъ—недужится... Нога въ колѣнѣ жалится, по спинѣ вся пятерня медвѣжья прошлась—кость не тронулъ, а все-таки глубоко захватилъ когтями. Плечо ноетъ.

— И сегодня зарываться нельзя, Анютка... Отлежусь, авось, завтра полегчаетъ.

Прошло это завтра, и другое и третье завтра «вчерашнимъ» стало, и только на четвертый день могъ выйти, и то опираясь о ружье же, «Иванъ-Прощай». И опять не до работы ему было... А черезъ недѣлю, наконецъ, выбрался онъ и ахнулъ.

Съ деревъ еще не весь желтый листъ слетѣлъ, не оголѣли красныя лохмы, но снѣгъ тонкимъ слоемъ уже покрылъ всю поляну... И между деревьями—онъ же; тропки не видать совсѣмъ—всю ее замело. Снѣгъ и на лачугѣ — совсѣмъ сугробъ-сугробомъ стоитъ она.

— Анютка, подь-ко сюда! — крикнулъ онъ ей.

Выбѣжала дѣвочка—сыплется снѣгъ сверху, сыплется и кружится, мѣшаясь, вмѣстѣ съ послѣдними листьями.

Ранняя зима не ждано, не гадано подкралась и все одѣла чистымъ саваномъ... Умирайте-де—пора!

X.

Отъ недолгаго лѣтняго счастья «Ивана-Прощай» — одна Анютка ему осталась. Лежа на кошмахъ, онъ не спускалъ съ нея воспаленнаго взгляда. Разнедужился совсѣмъ бѣдняга. Съ жару-то на первыхъ

Дни шли за днями — болѣзнь не поддавалась. Напротивъ, Иванъ какъ-то разъ не выдержалъ и выбрался на холодъ, взялъ ружье—не застрѣлитъ ли чего, доползъ до конца поляны, полежалъ-полежалъ тамъ, а когда вернулся, закружило его и замотало такъ, что едва до своей кошмы добрелъ. Анютка было подбѣжала, но съ ея «дѣдушкой» творилось что-то неладное. Онъ сорвалъ съ себя полушубокъ и, глядя на нее безумными глазами, заговорилъ вдругъ:

— Не хочу подъ запоръ, слышь, не хочу... Уйди... Оставь, ваше благородіе, не виноватъ ни въ чемъ, только что на волѣ жилъ... И за что вы меня, злодѣи, мучаете?.. Старикъ я... Дайте спокою... Кабы молодому — плети отчего же... Старикъ я, вѣдь до смерти забьютъ... Ой, милые, вызвольте... У меня вѣдь Анютка теперь... Ой, тяжко мнѣ... Тяжко! — хрипѣлъ онъ и вдругъ переходитъ въ тихій, едва различаемый шопотъ: — Ты, братецъ мой, не такъ это задумалъ... Какъ повѣрка пройдетъ — слышь, половица-то у меня готова—лазь да, гляди, во дворѣ въ углу самомъ притаись... А какъ заснутъ вороги—вверхъ, тамъ у меня приспособлено, да сверху-то осмотрись... Часовой у тебя внизу... Коли надъ нимъ надъ самымъ—прыгай смѣло... прыгай... Прямо ему на плечи и души, слышь, души... Чтобы и не пикнулъ... Туда ему, собакѣ, и дорога... Падаль клятая!.. А меня, господа начальство, плетьми не за что, нѣтъ моей вины, и никакъ Анютки я не убивалъ, хоть ее самую спросите... Ой, тяжко... ой, горитъ!

Успокоиваясь, онъ «отходилъ» и засыпалъ на нѣсколько времени, а очнувшись, спрашивалъ

Анютку: «Напужалъ я тебя? Боленъ я, Анютка, погоди, выздоровѣю скоро, заживемъ мы опять съ тобою!..» Но недѣли шли за недѣлями, а «Иванъ-Прощай» все не подымался. Истощалъ старикъ, осунулся, глаза его еще больше впали, еще грознѣе встопорщились сѣдыя брови. Правда, бреда теперь не было, но и сила не возвращалась. Хорошо, что зима по началу стояла тихая и мягкая. Не было метелей, морозомъ еще не ударило. Снѣгъ выпалъ и остался—новаго не прибавлялось.

— Анютка, что у насъ хлѣба-то много?

— И вовсе вышелъ... Для тебя горбушечка сухая есть.

— А муки?

— И мучки мало. Такъ на донышкѣ чуть самая.

«Надо, значитъ, мнѣ въ поселокъ итти,—соображалъ старикъ.—Я-то дойду, пожалуй: кошемъ, что паготовилъ—не донесу, ну, да Андрюшка Лазаревъ и самъ за ними пріѣдетъ. Теперь на саняхъ вездѣ дорога-то»... И на другой же день онъ вышелъ, заказавъ дѣвочкѣ запереться и сидѣть въ лачужкѣ. «Къ вечеру вернусь!» Простился онъ съ нею, но не прошло и получасу, какъ онъ постучался и опять легъ пластомъ... «Нѣтъ моей силушки — очень ужъ опять растомило, должно, рано я поднялся»... точно оправдывался онъ передъ дѣвочкой.

— Какъ же намъ быть-то, Анютка? Коли завтра не смогу—бѣги ты... Не боишься?

— Не боюсь... Я днемъ не боюсь, дѣдушка... Только вотъ медвѣди...

— Медвѣди, глупая, теперь по берлогамъ лежатъ да лапы сосутъ. Ихъ оттуда силой не выво-

ротишь. Волковъ тоже давно не слыхать—должно, гдѣ люднѣй, туда ушли. Тутъ имъ нынче пожива плохая, а то они бы вокругъ насъ все по ночамъ выли.

Пришло «завтра», и «дѣдушка», разумѣется, не смогъ...

— Ну, Анютка, выручай... Вотъ тебѣ деньги...

У старика навернулись слезы, когда сиротка стала обряжаться.

Этакая маленькая, а лѣсъ большой, высокій—страшно ему за нее стало.

— Вели Лазареву привезти муки мѣшокъ, да коровая два хлѣба, да крупъ какихъ тамъ... Скажи, дѣдушка много ему наготовилъ добра разнаго. Только ночью не возвращайся, ночью спутаешься. Оставайся у Андрюшки, да вмѣстѣ съ нимъ завтра сюда и пріѣзжай... Скажи, боленъ я—медвѣдь-де поломалъ «Ивана-Прощай». Слышишь?..

— Чего же ты плачешь, дѣдушка?..

— Такъ... Обмякъ... Ну, Богъ съ тобой...

— Слышь, ты — пой, ежели страшно покажется, пой...

Дѣвочка пошла. Выползъ старикъ и слѣдитъ за нею. Вотъ она ужъ на концѣ полянки,—шибко идутъ молодыя ножонки. Точно козявка крохотная ползетъ подъ лѣсными великанами. Обернулась и улыбается, а слезы ему глаза застятъ — видѣть мѣшаютъ.

XI.

Весь въ бѣломъ уборѣ лѣсъ стоитъ... Хоронятся подъ саваномъ творческія силы... Не шелохнется вѣтка, не всколыхнется верхушка дерева.

Небо въ тучи закуталось, внизу снѣгъ... Запорошилъ землю, завалилъ овраги, на сучьяхъ повисъ бѣлыми шапками, только вокругъ толстыхъ стволовъ подтаялъ ямками. Тишина такая, что слышно далеко, какъ хруститъ онъ подъ ногами у Анютки... Хотѣла было запѣть она—да точно ее самое пришибло молчаніемъ вѣковыхъ сосенъ, окутало и заморило заповѣдной тайной... Идетъ она и легче ступать старается, точно боится, чтобы не проснулись по сторонамъ эти траурныя, печальныя ели... Посмотрѣла на нихъ, и страшно дѣвочкѣ, что́ онѣ хоронятъ подъ своими широко и низко, къ самой землѣ опущенными темными вѣтвями, а какъ вдругъ оттуда безшумно выползетъ «что-то»! Кабы знать—«что́», не такъ бы и боязно было... А вотъ что-то тихо-тихо жалуется въ оврагѣ подъ бѣлыми сугробами. Хорошо, если ручей это, а если... Что «если»—она и сама не знаетъ, и все быстрѣй и быстрѣй торопится дальше и дальше... Усердно работаютъ маленькія ножонки, скользя и спотыкаясь порою. Смотритъ она только, гдѣ зарубки на деревьяхъ: не пропустить бы ихъ!.. Вотъ и крестъ на березѣ, запорошило его снѣгомъ, а все-таки видно. Присѣла на минуту въ снѣгъ дѣвочка и только теперь обратила на него вниманіе. Кругомъ слѣдки какіе-то: вѣтерокъ ли повзрывалъ ихъ, или... Она даже похолодѣла вся, да, къ счастью, вспомнила, что днемъ «они» ничего сдѣлать не могутъ и подъ землей сидятъ, а какъ стемнѣетъ, такъ и «они» выходятъ... Да, это, разумѣется, «они». Еще ея мамка, та самая, которую тогда дѣдушка валежникомъ прикрылъ въ другомъ лѣсу, говорила ей, что ночью по дебрямъ бѣгаютъ некре-

щеные либо брошенные младенцы. Умретъ такъ—ну, Богъ его и не беретъ къ себѣ. Ты, говоритъ, не мой—ступай, куда хочешь... Бѣда наткнуться на такого... Жалостно заплачетъ онъ: а возьмешь его—онъ тебѣ прямо зубами въ горло... Вскочила опять Анютка и шибко пошла впередъ. Еще часть дороги лѣсомъ оставалась ей... Вотъ тутъ ужъ другіе слѣдки показались—точно птичьи лапки, а вонъ и заячья вся отпечаталась: косой, должно-быть, прыгалъ... Чу! Что это такое?—и дѣвочка сначала вся затрепетала, а потомъ надъ собой засмѣялась. Одна изъ бѣлыхъ снѣговыхъ шапокъ, торчавшая на самомъ концѣ сучка, подломила его и вмѣстѣ съ нимъ рухнула въ снѣгъ внизу... И опять тишина, и опять словно завороженныя стоятъ вѣковыя деревья, не шелохнутся, высокія, высокія! Какъ это она идетъ подъ ними такая маленькая? Даже не чудится больше ничего въ этомъ мертвомъ царствѣ зимняго покоя; только снѣгъ похрустываетъ подъ ногами у дѣвочки... Ѣсть ей захотѣлось, пожевала она на ходу сухую корку, задумалась о чемъ-то, думала, думала и споткнулась, привстала—анъ, глядь, лѣсъ ужъ позади. Впередъ—идетъ одна бѣлая гладь съ дымками убогаго поселка вдали... Осмотрѣлась она—стѣной стоятъ за нею недвижныя сосны и темныя ели. Дорога подошла къ нимъ, да точно испугалась и круто свернула въ сторону. Анютка почувствовала, что теперь ей одной ни за что не пойти назадъ. Теперь она боится, такъ боится *уже пройденнаго* лѣса, что въ немъ *шла*, а изъ него выбралась—*стремилавъ побѣжала*...

Весело ей показалось, когда лѣсъ отступилъ назадъ и теперь слился весь въ одну смутную полосу.

Туча тучей, а въ самыхъ нѣдрахъ ея одинокая бэрлога и въ ней — старый больной дѣдушка. Одинъ только и смыслъ у дебри, что хоронить его. Мертвой была бы иначе! Слышится собачій лай издали—вонъ и люди ѣдутъ, такіе, какихъ она и не видала еще—четверо верхами въ папахахъ, съ длинными палками въ рукахъ и ружьями за спиной, а одинъ, должно-быть, важный, толстый, и шапка на немъ, какую она въ городѣ разъ примѣтила, когда съ матерью туда за милостыней ходила, съ краснымъ околышемъ, и шуба, кибиткой воротникъ поднятъ... Этотъ ѣхалъ въ саняхъ между верховыми.

Разъ выбралась изъ лѣсу—радостное чувство нахлынуло, и подъ его вліяніемъ никого ей не страшно сдѣлалось.

— Эй, ты, дѣвочка!—остановился толстый.—Подойди-ка сюда. Ты откуда?

— Изъ лѣсу, дяденька.

— Какъ изъ лѣсу? Тамъ вѣдь жилья нѣтъ.

— Нѣтъ. Только мы съ дѣдушкой.

— Что же вы изъ поселка?

— Нѣтъ. Дѣдушка издали сюда пришелъ, а у меня мамка померла, ну, онъ меня и нашелъ въ лѣсу.

— Постой-ка,—точно осѣнила какая-то мысль ѣхавшаго.—Они сказывали,—махнулъ онъ рукой на поселокъ,—что его тутъ нѣтъ и не бывало. Ты вѣдь, поди, и не знаешь, какъ твоего старичка зовутъ? Гдѣ тебѣ знать-то?

— А знаю,—смѣялась она.—Иваномъ.

— Ну, вотъ. А еще какъ, должно-быть, онъ тебѣ и не сказалъ? Ну, да! скажетъ онъ тебѣ! Еще чего!

— Нѣтъ, сказалъ,—радовалась общей веселости Анютка,—и я знаю!..

— Анъ не знаешь!

— Нѣтъ, знаю. А еще его «Прощаемъ» кличутъ... Вотъ какъ; а меня—Анюткой...

— Этого-то намъ и надо!—совсѣмъ развеселился чиновникъ.—Ну, погодите, мерзавцы!—погрозился онъ на поселокъ.—Вы отъ меня хороните бѣглыхъ-то... Гдѣ же теперь твой дѣдушка?

— Лежитъ.

— Въ лѣсу?

— Въ лѣсу, дяденька, потому его вѣдьмедь поломалъ, ну, онъ съ тѣхъ поръ и боленъ. Такъ около жилья походить можетъ, а больше ему нельзя.

— И уйти, значитъ, нельзя?

— Куда же ему уйти-то!—засмѣялась Анютка.—Онъ меня ждетъ.

— Значитъ, онъ тебя послалъ?

— Да... въ деревню вонъ къ Андрюшкѣ Лазареву.

— Зачѣмъ?

— Хлѣба купить, мучки, крупъ...

— Ну, вотъ что, садись-ка сюда... Хочешь помочь дѣдушкѣ? Мы его вылѣчимъ и хлѣба ему дадимъ и денегъ... Всего оставимъ ему, чтобы вамъ въ лѣсу лучше жилось.

— Только мы зарыться на зиму хотѣли, а какъ дѣдушка заболѣлъ, ему ужъ и нельзя было...

— Зачѣмъ въ землю?

— Отъ холодовъ, дяденька.

— Ну, мы ему избу въ лѣсу поставимъ хорошую.

— Какъ у Лазарева, съ печкой?

— Вотъ-вотъ, именно.

— А я ему стану въ ней кашу варить!—захлопала она въ ладоши.—Это совсѣмъ, значитъ, какъ дѣдушка говорилъ: должны другъ другу помогать всѣ, а Богъ-отъ за всѣхъ.

— Ну, да... Еще бы! Вотъ и мы ему поможемъ...

Анютка взлѣзла на облучокъ... Мужикъ, правившій лошадьми, злобно толкнулъ ее въ бокъ... «Дура!» прошипѣлъ онъ на нее...

— Степанъ, какъ ты думаешь, можно въ лѣсу проѣхать санями?

— Нельзя!—нахмурился тотъ.

— А вотъ дамъ тебѣ, варнаку, хорошенько туза по шеѣ, такъ и можно будетъ. Сворачивай, каналья! Зимой вездѣ проѣхать можно.

Анютка притихла: чего это сердится баринъ?

— Нельзя!—ворчалъ онъ про себя.—Знаю я васъ, сволочей! Бѣглыхъ у меня хоронить да прятать...

Степанъ въѣхалъ въ лѣсъ.

«То-то дѣдушка обрадуется!—думала Анютка, улыбаясь счастливою дѣтскою улыбкой.—Какую я къ нему компанію везу!»

XII.

Душа заныла у «Ивана-Прощай», когда Анютка ушла въ поселокъ.

«Не мнѣ, грѣшному, молиться-то за тебя,—думалъ онъ.—Какъ бы еще зла какого не накликать»... А сердце ему такъ и щемило. Хорошо—

волковъ нѣтъ, а какъ заблудный какой, одиночный попадется. Либо она сама дорогу потеряетъ да заплутается. Теперь и отыскать-то некому... И ему чудилось уже, что маленькое тѣльце ея бьется и корчится въ зубахъ у голоднаго звѣря, что волкъ тащитъ ее въ самую чащу, что она проваливается въ снѣгахъ глубокихъ овраговъ, сбивается съ пути и тщетно бѣжитъ со-слѣпу, крича дѣтскимъ голосенкомъ: «Дѣдушка, дѣдушка... боюсь, боюсь!»

Часы проходили за часами... Тошно ему стало совсѣмъ; вышелъ онъ изъ шалаша... Зналъ, что сегодня она заночуетъ въ поселкѣ, а все-таки тянуло его: авось, вернется, и онъ еще до вечера увидитъ ее—веселую, смѣющуюся, радостную...

Подъ бѣлымъ саваномъ молчалъ зловѣще лѣсъ, хмурилось сѣрое небо, словно насупились старыя сосны и ели...

Страшно чего-то... Никогда одинъ не боялся, а теперь къ людской молви съ Анюткой привыкъ. Жутко... Не крадется ли кто?... Вѣдь и онъ когда-то подкрадывался. Эко сердце-то стучитъ какъ! Больно даже. Взялъ онъ пригоршню снѣга, проглотилъ,—освѣжило...

И опять тянется время... Молчитъ зловѣще лѣсъ, хмурится сѣрое небо...

Что это, словно бы голоса?.. Голоса и есть. Неужели Андрюшка Лазаревъ сегодня еще снарядился къ нему за кошмами и дѣвочку его везетъ сюда? Должно, еще кто изъ поселка съ нимъ? Нѣсколько человѣкъ. Онъ слышитъ топотъ коней, далеко по лѣсу разносится. Радоваться ему бы, а сердце еще пуще защемило у стараго бродяги... Эхъ, волчья жизнь—всего-то боишься!..

Нѣтъ, не Андрюшка это...

Анютка тутъ, ея голосъ слышенъ. Это она смѣется... Что-то замерещилось между деревьями.

— За душой, за моей!—вскочилъ «Иванъ-Прощай», и волосы дыбомъ поднялись на его головѣ.

Казаки выѣхали на поляну...

— Дѣдушка... Здравствуй!.. Вотъ и я, дѣдушка!

Но что это?.. Дѣдушка вскочилъ въ берлогу, вышелъ оттуда съ ружьемъ — и не узнать старика совсѣмъ... Грозно горятъ его глаза, по лицу бѣжитъ судорога.

— Ну, ну, не шали, «Иванъ-Прощай»... Самъ знаешь — тебѣ же хуже будетъ. Видишь, сколько насъ! — кричитъ ему «добрый баринъ».— Брось, брось ружье, а то засѣкутъ плетьми-то на кобылѣ... Ужъ я тебѣ ручаюсь...

— По мою душу, ваше благородіе, пожаловали...— И страшная улыбка пробѣжала по лицу каторжника. Взглядъ его также равнодушно скользнулъ по лицу Анютки.

— Паскуда, выдала! — зашипѣлъ онъ. Старый бродяга-арестантъ проснулся въ немъ.

— Ну, сдавайся, Иванъ! Чего еще!—торопился красный околышъ...

— Возьмите, баринъ!—дико смѣялся онъ.—Пожалуйте... Кому жизнь не мила! Ну-ка!

Онъ приложился, поводя дуломъ отъ одного казака къ другому.

— Бей его!—вспыхнувъ, крикнулъ чиновникъ.

Одинъ изъ всадниковъ приложился, нацѣлился... Грохнуло въ лѣсу—выстрѣлилъ «Иванъ-Прощай» и не попалъ. Спокойно спустилъ курокъ ружья казакъ. Еще разъ проснулся лѣсъ...

— Потрафилъ!—тихо проговорилъ верховой и отвернулся, точно ему не по себѣ стало.

«Иванъ-Прощай» какъ-то бокомъ валится на снѣгъ. Подъ нимъ краснѣетъ что-то. Приподнялся на локтѣ и опять упалъ. Закружился—вытягивается... Обернулся лицомъ вверхъ.

— Анюта!.. Голубушка!..—шепчетъ онъ побѣлѣвшими губами.

Но та стоитъ какъ каменная. Старое слово «боюсь» замираетъ у нея на языкѣ... Казаки спѣшились, подходятъ къ бродягѣ.

— Ну, что?—спрашиваетъ чиновникъ.

— Готовъ, ваше благородіе...

— Какъ и не дышитъ?

— Кончился!..

Чиновникъ набожно снялъ шапку и перекрестился. Перекрестились и казаки.

«Иванъ-Прощай» пристально смотритъ въ небо... Очнулась дѣвочка, бросилась къ нему, тормошитъ его, бьется вся, словно раненая птица...

— Дѣдушка, дѣдушка!.. Это я, дѣдушка!..

Но дѣдушка не слышитъ ея. Припала она къ нему и плачетъ...

Хмурится сѣрое небо; подъ бѣлымъ саваномъ молчитъ зловѣще лѣсъ; словно насупясь, стоятъ зачарованныя старыя сосны...

ЗА ЧТО?

(Очеркъ.)

I.

День былъ изъ такихъ, какіе даже истинныхъ петербуржцевъ приводятъ въ отчаяніе. Съ утра туманъ окутывалъ улицы и площади, въ туманѣ падалъ дождь. Мокрые дома точно обливались слезами; зелень убогаго сквера вся повисла немощно и уныло, какъ подъ дождемъ вѣшаютъ уши меланхолическія собаки. Громадная масса Исаакія вдали, которую я видѣлъ изъ моихъ заплаканныхъ сегодня оконъ, смотрѣла еще мрачнѣе, чѣмъ обыкновенно, сливаясь сѣрыми мраморами съ густою мглою, окружавшею ее. Люди не шли, а бѣжали по улицамъ, тяжело дыша, насквозь вымокшіе и похожіе на бѣлье, которое прачка только что вынула изъ корыта и пока еще не выжала. Лица у всѣхъ казались злыми; голоса, доносившіеся ко мнѣ, были хриплы. Извозчики неистово стегали коней или съ головою завертывались въ кожаныя полости и ругались. День, скучно родившійся въ туманѣ, въ немъ же и умиралъ, потому что все его существованіе было похоже на долгую, мучительную агонію. Тучи ползли низко,—казалось, вотъ-вотъ прильнутъ къ облитой ихъ слезами землѣ. То и дѣло отъ нихъ отдѣлялись сѣрыя массы и хлопья, точно щупальца

томъ какого-то усатаго генерала, написаннаго фертомъ, руки въ боки. Она имѣетъ наглость выдавать его за своего дѣдушку, тогда какъ всѣмъ жильцамъ очень хорошо извѣстно: все ея прохожденіе службы заключалось въ тридцатилѣтней войнѣ съ лысымъ и впалогрудымъ экзекуторомъ, у котораго она изъ кухарокъ-чухонокъ сдѣлалась экономкою и, побѣдивъ его, наконецъ, и уложивъ вмѣстѣ съ треуголкой, шпагой и пряжкой за безпорочность, на Смоленское, завела полукрѣпостныхъ жильцовъ.

Сегодня, въ этотъ сырой и холодный день, я постарался заснуть еще разъ, но это мнѣ не удалось. Чиновникъ налѣво не пошелъ на службу, и въ груди у него скрипѣли такія ржавыя петли, кашлялъ онъ такъ неистово, будущая піанистка осталась тоже дома, освободивъ консерваторію отъ гаммъ и экзерсисовъ, и клавиши брошеннаго на произволъ судьбы фортепіано подъ ея руками стонали такъ чахоточно, такъ жалобно, что я долженъ былъ сдаться и встать. Унылый лакей внесъ самоваръ, чайникъ, очевидно, гордившійся сходствомъ со статуями Лѣтняго сада, потому что у него, какъ у нихъ, былъ отбитъ носъ, булку, изсохшую, какъ старая дѣва, своевременно невышедшая замужъ. Поставивъ все это на столъ и взглянувъ на меня точно на приговореннаго къ смерти, Семенъ, большой политикъ вообще, остановился у дверей.

— Ну-съ?..—спросилъ я его по обыкновенію.

— Генералъ Бламанжей опять во Франціи-съ. Читалъ сегодня-съ. Въ газетахъ прописано. Да что!—И лицо его вдругъ приняло горькое выраженіе.—Разсчитать обѣщалась!—покосился онъ по обыкновенію туда, гдѣ, по его мнѣнію, должна

была находиться въ эту минуту героиня тридцатилѣтней войны.

— За что?

— За генерала!

— За Буланже?

— Нѣтъ, за своего, за натретнаго.

— Что же вы съ нимъ сдѣлали?

— Помыть приказала!

— Ну?

— Я ихъ шваброй... Они и слиняли... Кто же ихъ зналъ—висѣли, висѣли... Опять же капитанъ изъ тринадцатаго номера пожаловались... А за что?.. За самый пустякъ. Елена Григорьевна,—покосился онъ на дверь, за которою чихало и кашляло фортепіано,—обидѣли ихъ, а я виноватъ... При капитанѣ — собака, Македонъ, изволили видѣть — изъ приблудныхъ дворянскихъ пубелей. Ну, такъ капитанъ обидѣлись на Елену Григорьевну и изъ критики взяли да и обстригли собаку на манеръ какъ бы Елену Григорьевну. И брови псу такія, какъ у нея, оставили и кудерьки на лбу тоже... А вчера вечеромъ взяли въ папильонки завернули собачьи кудерьки и пустили, Македонку-то, въ коридоръ. Елена Григорьевна какъ вышли, такъ и обмерли... Сегодня утромъ этому самому псу онѣ въ отместку морду всю горчицей вымазали и, какъ ни въ чемъ не бывало, на фортепіанахъ сѣли играть. А я въ отвѣтѣ. За что-съ? Вся-то и вина моя, что я горчишницу забылъ убрать со стола. Гдѣ жъ за всѣмъ усмотришь?

— Ну, что же, вы найдете себѣ лучшее мѣсто! Стоитъ жалѣть! Вѣдь тутъ гадко!

— Гдѣ нынче мѣста-то?—И онъ безнадежно махнулъ рукою.—Не принимаютъ никуда. У кого лицо веселое, ну, тому точно что, а мнѣ гдѣ же веселости набраться? У меня вонъ дочка растетъ, долженъ я объ ней понимать и безпокоиться? Ей-то хорошо,—махнулъ онъ опять на сосѣдній нумеръ,—ей что! Вымазала она пубелю морду,—взяла книжку и слава Богу. Подожметъ ноги, на диванъ сядетъ—читай, либо звони на фортепіанахъ, а я куда дѣнусь? Капитанъ тоже хорошъ—собаку на манеръ дамы!

— Хотите я за васъ попрошу хозяйку?

— Будь столь добры, потому—что̀ вы скажете, такъ это и будетъ!—обрадовался онъ.—Вы—жилецъ исправный, за два мѣсяца впередъ отдали—она васъ послушается. А то что же—ей Богу—я ужъ такъ думалъ, что въ окно да ногами вверхъ. Потому у меня дочь, мнѣ невозможно. Куда я пойду? Въ ресторанъ ежели—одежду нынче требуютъ, бѣлье чтобы тонкое и чистое и расторопность, а у меня кость въ колѣняхъ мозжитъ. И генералъ-то, — конфиденціально наклонился онъ ко мнѣ,—не ея! Ничуть не бывало—это она только для важности родство такое выдумала. Это отъ одной жилицы осталось. Была у нея такая, отъ спичекъ померла.

— Какъ отъ спичекъ?

— Извѣстно, какъ помираютъ: накрошила себѣ спичекъ въ стаканъ—и хлопъ. Ее въ больницу старшій дворникъ отвезъ, а потомъ приходилъ околодочный. «Ольга-то Николаевна ваша — ее всѣ знали—Богу душу отдала!» Ну, хозяйка сейчасъ генерала къ себѣ въ дѣдушки и опредѣлила. Что

ему такъ-то висѣть, лучше же, чѣмъ на рынкѣ у старьевщика зябнуть!

— Давно это было?

— Въ прошломъ году. Въ этой самой комнатѣ.

— Въ моей?

— Въ вашей. Диванъ тутъ стоялъ въ углу, съ а мы ее и сняли. И билась же!

— Неужели нельзя было спасти? Вѣрно, не во время опомнились?

— Никакъ невозможно. Она спичками пользовалась ночью еще, а сказалась утромъ. Кабы раньше знато!

— Что жъ отъ бѣдности?

— Нѣтъ, какъ можно, всегда за мѣсяцъ впередъ платила. Даже за другихъ! Тутъ одна не могла заплатить—Ольга Николаевна сейчасъ имъ дали. Сколько разовъ и моей дочкѣ помогали. Добрая барышня были.

— Что же за причина?

— Отъ мускова обману-съ, должно. Такъ всѣ думали. Либо отъ чувствъ. Отъ чувствъ все бываетъ.

— Женихъ у нея былъ?

— Нѣтъ. Жениха у нихъ не было, никто къ нимъ не ходилъ. Она кота при себѣ держала, но только послѣ ея смерти и котъ сбѣжалъ. Самой трезвой жизни дѣвица. Все сидѣли да писали. Вотъ за этимъ за самымъ столикомъ. Мелко-мелко писали—точно бисеромъ. И никто даже не думалъ, потому такая обстоятельная дѣвица. Взять Елену Григорьевну теперь. Онѣ со всѣми цапаются; чуть что—сейчасъ въ колидоръ выбѣгутъ въ ночной кофтѣ и давай кричать. На всѣхъ кричатъ: и на

меня, и на капитана, и на Македона ихняго. А Ольга Николаевна тихая была. Какъ мышь въ норѣ, все у себя возятся въ комнатѣ. Телеграфистъ у насъ жилъ одинъ, нарочно гитару купилъ, чтобъ ей понравиться,—и вниманія не взяла. Даромъ только семь рублей отдалъ. Чиновникъ изъ почтана сватался—тоже. Что онъ духовъ извелъ, и все разные!.. Три пары однихъ свѣтлыхъ панталоновъ сшилъ—не помогло!

— Что же она писала?

— Съ разныхъ языковъ по-русскому. И деньги ей за это платили—хорошо жила, помилуйте! Театръ любила, гдѣ поютъ, вотъ... Постоянно по вечерамъ брала извозчика туда. Хотите, я покажу, какъ она писала-то, у меня одна тетрадка осталась. Я, правду сказать, пробовалъ разбирать, да непонятное все, по-ученому...

— Пожалуйста, принесите.

Онъ живо вышелъ изъ комнаты и черезъ минуту вернулся съ пачкой тоненькихъ листовъ мелко исписанной почтовой бумаги.

— Коли хотите, возьмите себѣ. Я такъ это, для памяти... Потому они ничего не стоятъ...

Туманъ совсѣмъ заполнилъ улицу передъ окномъ. Я нарочно опустилъ штору и, завѣсивъ окно одѣяломъ, зажегъ свѣчи. Все же не такъ тоскливо было при вечернемъ освѣщеніи, чѣмъ при тускломъ отсвѣтѣ гнилого и болящаго дня.

Къ счастью, кашлявшій весь день чиновникъ куда-то ушелъ, и консерваторка направо угомонилась. По крайней мѣрѣ, она не играла больше. Настала тишина. Никто и ничто мнѣ не мѣшали читать, хотя я съ трудомъ разбиралъ почеркъ

«Ольги Николаевны». Тетрадка эта была что-то въ родѣ дневника, къ сожалѣнію съ большими перерывами и крайне небрежно набросаннаго. Окончивъ его, я, чтобы разобраться, долженъ былъ пробѣжать его еще разъ и только тогда понялъ, въ чемъ дѣло. Здѣсь я привожу изъ него выдержки, подобравъ ихъ болѣе или менѣе въ извѣстномъ порядкѣ.

II.

«Мнѣ двадцать два года. Я, говорятъ, хороша собою, но до сихъ поръ еще, несмотря на страстную жажду жизни, ни сама никого не любила ни меня никто не любилъ! Я говорю не о безплодныхъ порыванiяхъ, а о настоящей любви—любви, которая одна бросаетъ отсвѣтъ на наше блѣдное существованiе. Я живу замкнувшись; кромѣ редакцiи, куда я ношу переводы, и иногда театра — я ничего не знаю. Моя комната — это для меня или цѣлый мiръ или тюрьма. Я боюсь показываться, боюсь знакомиться —почему? Можетъ-быть, все одна мнительность, глупые и неосновательные страхи. Но что же дѣлать?.. На мнѣ лежитъ проклятiе, и рано или поздно оно должно исполниться. Отецъ былъ алкоголикъ, мать въ двадцать пять лѣтъ сошла съ ума и умерла въ домѣ для душевно-больныхъ. Старшiй братъ страдаетъ припадками эпилепсiи, и сверхъ того — меланхоликъ. Это и заставило его уйти подальше отъ людей въ далекiй и захудалый, захолустный монастырь. Онъ мнѣ не пишетъ, я ему тоже. Какое-то глубокое равнодушiе другъ къ другу, и когда я думаю объ этомъ, мнѣ оно не

представляется необъяснимымъ. Мы и росли такъ— молчаливыми, разрозненными дѣтьми. Не было общей ласки, которая сблизила бы насъ. Отецъ по вечерамъ напивался мрачно и одиноко, матери я уже не помнила. Я видѣла ея портретъ: худощавое нервное лицо съ большими глазами странный взглядъ которыхъ, казалось, видѣлъ вовсе не то, что было передъ нимъ. Жила у насъ и гувернантка, но ужъ, разумѣется, не ей было примирить насъ съ жизнью. Я помню только, какъ у нея тряслась голова на тонкой шеѣ, жилы казались скрученными синими шнурками; сухія губы ея были постоянно сжаты, такъ что мнѣ въ дѣтствѣ представлялось, будто у нея во рту сидитъ птица, которую она боится выпустить. Острые и суровые глаза и костлявые пальцы не дѣлали ея наружности привлекательнѣе. Она не била насъ, о нѣтъ! Она очень много читала, была, какъ говорили, умна; но мы захолодѣли, замерзли подъ ея вліяніемъ... Всѣ ея старанія были направлены къ тому, чтобы мы не видѣли отца, когда имъ одолѣвала несчастная страсть. Въ остальное время онъ запирался тоже и выходилъ къ намъ точно сконфуженнымъ, видимо желая избѣгнуть пытливыхъ дѣтски-любопытныхъ взглядовъ. Я такъ хорошо помню его громадный клѣтчатый шелковый платокъ, въ который, будто сморкаясь, онъ пряталъ лицо, когда я пристально начинала смотрѣть на него. Ему было тяжело жить; мы это сознавали дѣтскимъ сердцемъ; иной разъ мнѣ хотѣлось приласкаться къ нему, но я слишкомъ одичала. Я сама не слышала привѣтливаго слова, чтобы сумѣть сказать его. Разъ только, войдя къ нему

въ кабинетъ, я ткнулась ему въ руку головой, точно щенокъ, жалающій, чтобы его погладили. Отецъ машинально положилъ руку мнѣ на голову, но потомъ боязливо отнялъ ее, тихо взялъ меня за плечи, вывелъ за двери и заперъ ихъ, повернувъ ключъ... Это сухое щелканье замка до сихъ поръ наводитъ на меня ужасъ.

Я помню, какъ-то мнѣ случилось подслушать разговоръ отца съ нашей гувернанткой.

— Вы, Николай Ивановичъ, точно не любите своихъ дѣтей...—выговаривала она ему.

— Мнѣ тяжело видѣть ихъ... Вы вѣдь знаете, что ихъ ждетъ обоихъ? Нельзя же не видѣть этого.

— Господь милостивъ.

— Ну, разумѣется... Я не даромъ учился— ясное дѣло. Отецъ—пьяница, мать—помѣшанная! Страшно смотрѣть на нихъ... Оля—какая нервная, то и дѣло въ лицѣ мѣняется, а Алексѣй — у него, какъ у дѣда, должна начаться падучая. Я все жду съ часу на часъ.

— Зачѣмъ же вы пьете? Сами-то?

— А это проклятье на мнѣ. Мой дѣдъ тоже помѣшаннымъ былъ, отецъ всю жизнь проболѣлъ, а я пью. Мнѣ нужно пить. Если бы я не пилъ, давно бы не жилъ... или сошелъ бы тоже съ ума.

— Вы только оправдываете себя этимъ! Просто вы слабый, безхарактерный человѣкъ!.. У васъ нѣтъ силы удержаться, остановиться. Я удивляюсь, какъ сама могла прожить всю жизнь съ вами здѣсь!..

Отецъ заплакалъ и сталъ цѣловать ея руки.

Онъ пробовалъ не пить, но въ эти дни ходилъ такимъ несчастнымъ, такимъ жалкимъ, слабымъ и

больнымъ, что на него смотрѣть было больно. Весь какъ-то поникалъ, глаза его тухли, колѣни дрожали... Старался лѣчиться, но все это было напрасно. Его возили даже на воды куда-то, и тамъ онъ, говорятъ, оправился, но, вернувшись, принялся за старое. Онъ женился по любви. Мать была очень хороша собою. Говорятъ, я на нее похожа,—зловѣщее сходство! Но она отличалась большими странностями. Мнѣ не разсказывали о нихъ, хотя я уже въ самомъ раннемъ возрастѣ начинала понимать, почему при одномъ моемъ приближеніи всякій разговоръ о ней прекращался разомъ... И тутъ же, бывало, наша гувернантка замѣчаетъ:

— Оля, не будь такъ порывиста. Пріучайся сдерживаться...

И я замѣчала, какъ взглядъ ея пристально слѣдитъ за мной.

— Совсѣмъ мать! — вздыхая, говорила она, обращаясь къ отцу.— Совсѣмъ мать!.. На воспитаніе характера у нея придется потратить много силъ!

И дѣйствительно, надо ей отдать справедливость, она ни на минуту не оставляла меня безъ пристальнаго и что-то подозрѣвающаго взгляда.

Хорошо ли это было или дурно?..

Не знаю!

Думаю только, что безъ этого я бы не стала сама такъ неотступно и постоянно погружаться въ самое себя, слѣдить за собою, разбирать каждое свое движеніе—не отыщу ли въ немъ проявленія того ужаснаго недуга, который бѣдную мать мою сначала привелъ въ сумасшедшій домъ, а потомъ—

въ могилу... Меня не отдавали въ институтъ, а воспитывали все время дома. Боялись, что тамъ безъ надзора разовьются въ моемъ характерѣ, въ моей душѣ тѣ же черты, которыя замѣчались и въ моей матери... И напрасно боялись. Было бы лучше, если бы я росла между другими дѣтьми... Ну, да прошлаго не вернешь!..

Странная вещь! Оглядываясь теперь на все прежнее, я невольно задыхаюсь. Какія болѣзненныя условія, какая душная, затхлая атмосфера вѣчнаго надзора, вѣчной подозрительности окружала меня... И такъ тянулось до тѣхъ поръ, пока мнѣ минуло семнадцать лѣтъ... Я стала показываться въ обществѣ, за мною начали ухаживать, но во мнѣ самой уже выработалось недовѣріе къ себѣ, привычка слѣдить за собою, не поддаваться ни чувству ни порыву. Меня называли «дикой красавицей», и тѣ, кому я нравилась, боялись меня, вѣроятно, потому, что я сама себя боялась пуще всего. Мнѣ казалось, довольно мнѣ будетъ оставить себя на произволъ себѣ самой, и я сдѣлаю что-нибудь ужасное, ничѣмъ необъяснимое. Я какъ-то нарочно посѣтила сумасшедшій домъ,—и у меня замирало сердце, когда я въ полуобморочномъ состояніи вглядывалась въ несчастныхъ, бывшихъ передо мною. Неужели въ такой же самой клѣткѣ, запертая, жила и мучилась моя мать?! Могла ли она быть похожей на этихъ жалкихъ созданій?! Какъ же я могла думать о замужествѣ, о любви... о семьѣ?!.

Я всегда любила дѣтей; я не могла и не могу равнодушно смотрѣть на ихъ веселыя рожицы. Мнѣ все равно: бездомный уличный мальчишка или

разодѣтый, сопровождаемый боннами, ребенокъ... Мнѣ одинаково милы они, и только съ ними однимъ я могу разговаривать цѣлые часы, цѣлые дни, не уставая, не отдыхая, съ одинаково захватывающимъ интересомъ. Я люблю ихъ, и Богъ знаетъ, какимъ громаднымъ счастьемъ кажется мнѣ возможность имѣть своихъ, но... Я не имѣю права. А если въ дѣтяхъ повторится ужасное наслѣдіе?.. Если меня такъ же, какъ бѣдную маму, запрутъ въ одну изъ тѣхъ келій, которыя я видѣла, дрожа отъ зловѣщаго предчувствія?.. И если моя дочь будетъ расти въ тѣхъ же условіяхъ, въ которыхъ выросла я? Съ постояннымъ недовѣріемъ къ себѣ, съ глубоко выработавшеюся привычкою вѣчно всматриваться въ самое себя, съ болѣзненнымъ вниманіемъ къ каждому движенію души, съ вѣчнымъ ужасомъ подсмотрѣть въ немъ первое проявленіе грозящаго недуга... Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Лучше отказаться отъ любви, замкнуться, какъ улитка въ раковину, прожить всю жизнь ни разу не согрѣтой поцѣлуемъ, ни на одну минуту не увлеченной вихремъ всепобѣждающей страсти!

Я такъ и рѣшила!)

На девятнадцатомъ году я потеряла отца... На двадцатомъ умерла замѣнившая мнѣ мать гувернантка... Почти въ одно время съ этимъ изъ дому уѣхалъ мой братъ... Я не особенно горевала о немъ. Признаться ли? Мнѣ кажется, что мы съ нимъ внушали другъ другу ужасъ. По крайней мѣрѣ, я не могла безъ печальнаго предвидѣнія смотрѣть на его длинную худую фигуру съ выдающимися лопатками, впалою грудью, зеленымъ лицомъ и большими блиставшими лихо-

радочнымъ огнемъ глазами... Казалось, сквозь нихъ видно пламя, которое горитъ внутри его и сжигаетъ тамъ все: и душу и мысль!.. Онъ былъ молчаливъ и съ утра до ночи ходилъ по залѣ, заложивъ руки за спину, или ложился на диванъ и оттуда слѣдилъ за мною... Я понимала его. О, какъ мучительно я понимала его!.. Всякое впечатлѣніе я читала на этомъ исхудаломъ нервномъ лицѣ. Онъ, вѣроятно, старался во мнѣ подмѣтить признаки того, что совершалось въ его душѣ, и стоило мнѣ сказать слово нѣсколько громче, сдѣлать движеніе посильнѣе, и онъ вздрагивалъ и съ плохо скрытымъ опасеніемъ всматривался въ меня.

«Не начинается ли?» такъ и сквозило въ его пылающихъ глазахъ...

Да, онъ боялся меня, я боялась его... И въ то же время мы оба боялись самихъ себя!

Не правда ли, это было невыносимо? Кто-нибудь изъ насъ долженъ былъ уйти... Онъ и ушелъ первый...

Я получила отъ него письмо. Оно было коротко, сухо, странно.

Онъ писалъ мнѣ изъ далекаго монастыря:

«Здѣсь, что бы со мною ни случилось, меня не бросятъ, не посадятъ на цѣпь, но станутъ смотрѣть за мной... Здѣсь есть уединеніе безъ одиночества и дружба безъ страха. Прощай, Оля!»

Странно, я не жалѣла о немъ...

Я знала, что ему тамъ лучше. Я хотѣла остаться одна въ нашемъ маленькомъ городѣ, но услужливые друзья не позволили мнѣ этого. Я не могла отдѣлаться отъ ихъ посѣщеній, отъ ихъ заботъ. Всѣ они знали судьбу матери и ужасный порокъ

отца и копались въ моей жизни, вмѣшивались во всякую мысль и терзали душу своимъ сочувствіемъ и участіемъ... Ахъ, какъ было это невыносимо! Мнѣ стало представляться величайшимъ блаженствомъ возможность уйти туда, гдѣ ни меня ни моего прошлаго не знаетъ никто, гдѣ за мной не будутъ слѣдовать сводившіе меня съ ума пристальные взгляды... А тутъ случилось еще одно обстоятельство»...

III.

«Въ жизни каждой женщины есть *онъ*. Онъ хотя и полунамекомъ, легкою тѣнью прошелъ и въ моей жизни... Дѣйствительно, тѣнью... Ни слѣда не осталось отъ *него*.

Собственно говоря—«романа», любви—не было.

Зарождалось что-то похожее на взаимную симпатію. Встрѣчалась я съ нимъ и говорила чаще, чѣмъ съ другими; онъ нѣсколько дольше задерживалъ въ рукѣ мою, когда мы прощались... Вотъ и все... Среди людей, задавленныхъ ожесточенной заботой о мѣдномъ грошѣ, карьерѣ, наживѣ — онъ былъ исключеніемъ. Его жизнь оказывалась искалѣченной. Талантливый, знающій, искренній— онъ попалъ въ нашъ городокъ случайно. Безправнымъ ссыльнымъ. Онъ одинъ говорилъ здѣсь языкомъ моихъ книгъ, думая, какъ думали авторы... И вотъ именно послѣ отъѣзда брата онъ пришелъ ко мнѣ какъ-то вечеромъ.

На этотъ разъ онъ былъ молчаливъ и застѣнчивъ. Съ нимъ это случалось рѣдко. Я вышла проводить его на крыльцо. Онъ остановился на минуту, чего

то замѣшкался. Прохладная ночь дышала намъ въ лица ароматомъ только что распустившихся яблонь и черешенъ. Сквозь ихъ верхушки на насъ смотрѣли робкія звѣзды. Соловьи пѣли гдѣ-то за рѣкою...

— Какъ хорошо!..— тихо проговорилъ онъ.— Ольга Николаевна, пойдемте въ садъ.

Я спустилась со ступеней.

Лунный свѣтъ точно серебристымъ паромъ дымился надъ пышными кустами сирени. Тѣни между ними ложились какъ-то особенно таинственно. Домъ нашъ стоялъ надъ обрывомъ рѣки—и внизу мы видѣли ее, тускло мерцавшую, точно чудовищный змѣй бѣлесоватой чешуей. По ту сторону свѣтился огонекъ... И опять эти соловьи.

Онъ взялъ мою руку—я не отняла ея отъ него.

— Послушайте...— И голосъ его замеръ, точно не хватило силы окончить начатую фразу.

У меня сердце жутко забилось. Я знала, что онъ скажетъ, и хотѣла этого и боялась...

— Я люблю васъ... Будьте моей женой...

Какъ у него дрожалъ голосъ!.. Какъ онъ опустилъ голову, говоря это!

Я отняла у него руку. Хотѣла отвѣтить что-то, но дыханіе захватывало,—что-то сжимало мнѣ горло. Нечаянно наткнулась на дерево; колыхавшіяся вѣтки его осыпали меня холодною росой...

— Вы ничего не скажете мнѣ?..

— Завтра... завтра...— только и могла отвѣтить я и, не прощаясь, побѣжала домой. Мнѣ страшно было оставаться съ нимъ. Такъ страшно!..

А завтра,—когда онъ вечеромъ зашелъ ко мнѣ,— меня уже не было!

Я уѣхала!

Я боялась за себя. Невольно поддалась бы жаждѣ счастья, такъ громко говорившей въ моей душѣ, и сдѣлала бы несчастными и его и себя... Нѣтъ, такъ лучше было. Гораздо лучше. Въ этой громадной каменной пустынѣ Петербурга, я была одинока, совершенно одинока. Никому до меня не было дѣла, рѣшительно никому; я отдохнула здѣсь...

Вотъ уже два года, какъ я живу здѣсь, работаю, занимаю время, какъ и чѣмъ могу. У меня нѣтъ друзей съ ихъ правомъ вмѣшиваться въ вашу жизнь, нѣтъ знакомыхъ — соглядатаевъ, подстерегающихъ каждый вашъ взглядъ и объясняющихъ его по-своему. Я начала даже писать эту автобіографію, чтобы не скучать, когда я остаюсь одна. Особенно по вечерамъ, если нѣтъ оперы, и я сижу здѣсь въ моей комнатѣ съ грязными обоями. Я не могу засыпать рано. Мой мозгъ для этого слишкомъ возбужденъ; онъ много работаетъ, — до такой степени много, что въ послѣднее время у меня начались даже головныя боли. Закроешь глаза — и странные образы тѣснятся вокругъ, въ яркихъ краскахъ, въ рѣзкихъ очертаніяхъ, — это все книги... Прочитанное сплетается пестрою вереницей и носится вокругъ меня въ такомъ обиліи оттѣнковъ и звуковъ, что бѣдная голова начинаетъ кружиться... Но здѣсь, слава Богу, некому замѣчать этого, и я могу оставаться спокойною».

IV.

Тутъ въ дневникѣ Ольги Николаевны оказались странные пропуски, повторенія. Рукопись сдѣлалась крайне безпорядочной. Почеркъ я едва разби-

ралъ; нѣкоторыя слова были дописаны только до половины, часто цѣлыя фразы оставались неоконченными. Очевидно, мысль работала лихорадочно, и Ольга Николаевна не могла улавливать ее... Она то возвращалась назадъ, ни съ того ни съ сего припоминая малозначащія обстоятельства дѣтства, въ родѣ, напр., юродиваго, бѣгавшаго по маленькому городку, въ которомъ жила она, и пѣвшаго: «конченъ, конченъ дальній путь, вижу край родимый», то заносила на тоненькіе листы почтовой бумаги разсказы о томъ, какъ начинали учить ея брата грамотѣ, и какъ тотъ разъ высѣкъ азбуку, когда она очень ужъ ему надоѣла, то вдругъ дѣлала самыя безпорядочныя отступленія. Мнѣ попадались цѣлыя страницы разсужденій о музыкѣ, по поводу вчерашней оперы, при чемъ бѣдная дѣвушка становилась совсѣмъ уже непонятной. Длинно и подробно разсказывала она сны, въ которыхъ видѣла, ни съ того ни съ сего, «отраженія далекихъ ея существованій, до здѣшняго земного», и тутъ же знакомила съ своею вѣрою въ то, что земная жизнь—только одно звено въ безконечной цѣпи воплощеній, путемъ которыхъ душа идетъ къ совершенству. Странно было, что такія наскоро, отрывочно-набросанныя страницы смѣнялись опять спокойными, полными тихой грусти и кроткой покорности судьбѣ, въ которыхъ она продолжала описывать свое будничное существованіе...

«Мнѣ кажется, — писала она, — сотни людей, до меня жившихъ въ этой комнатѣ, оставили слѣдъ въ ней... Я читаю ихъ мысли, догадываюсь, о чемъ они мечтали, глядя въ окно на тусклую

зелень скуднаго сквера и на этотъ величавый силуэтъ Исаакія вдали, за которымъ далеко-далеко заходитъ солнце, словно окружая его золотымъ сіяніемъ. Жизнь моя идетъ все такъ же тихо и незамѣтно. Точно ручей, что едва-едва сочится по лугу, то пропадетъ въ песчаныхъ его прослоинахъ и сказывается только мокрыми пятнами на нихъ, то снова блеснетъ на минуту-двѣ, чтобы опять затеряться ужъ совсѣмъ... Откуда течетъ онъ и куда? Зачѣмъ и кому понадобилось его существованіе?.. Я бы сама рада схорониться, какъ онъ, если бы это было возможно. Но какъ схорониться? Когда я жила въ моемъ родномъ городкѣ, Петербургъ мнѣ казался именно тою людной пустыней, гдѣ я буду незамѣтна. А между тѣмъ прошло два-три года, и уже я вижу обращенные на меня недоумѣвающіе и подозрительные взгляды. Иногда мнѣ кажется, что я мнительна. Я до сихъ поръ не могу видѣть идущаго по улицѣ и улыбающагося человѣка, чтобы не подумать, что онъ смѣется именно надо мной — и ни надъ кѣмъ болѣе. Еще хуже, если пройдетъ мимо и оглянется на меня... Положительно во мнѣ есть что-то странное, незамѣтное для меня самой, что поражаетъ ихъ. Я невольно начинаю всматриваться въ стекла оконъ мимо, въ зеркала, гдѣ они есть, не подмѣчу ли я сама этихъ странностей, чтобы, по крайней мѣрѣ, если нельзя уничтожить, то «притвориться такою же, какъ и всѣ». А дома — дома еще хуже! Хозяйка, жильцы, люди—всѣ они слѣдятъ за мною. Положительно слѣдятъ!.. Да какъ же иначе понять эту непрошенную заботливость обо мнѣ? Сегодня, напримѣръ, она вошла въ мою комнату.

— Что вы, Ольга Николаевна, все сидите дома однѣ?

И вѣдь я вижу по лицу ея, что мое сидѣніе дома тутъ ни при чемъ. Она вглядывается въ меня, не подмѣтитъ ли чего-нибудь особеннаго. Но я именно въ такія минуты умѣю владѣть собою. Какъ улитка, прячусь въ раковину.

— Мнѣ весело одной...

— А вы бы пошли погулять!.. Право. У насъ молодые люди живутъ—познакомились бы. Что вамъ!

Очень мнѣ нужны эти молодые люди, которые, когда я прохожу по коридору мимо, останавливаются въ дверяхъ комнатъ и пристально слѣдятъ за мною. Были изъ нихъ и такіе, которые заговаривали. Особенно надоѣдалъ какой-то телеграфистъ. Что ему надо отъ меня? Даже въ редакціи, куда я ношу работы, какъ я ни стараюсь укоротить визиты, ко мнѣ относятся болѣе чѣмъ странно. Пытливо всматриваются въ меня — и мнѣ кажется, что стóитъ только мнѣ выйти, какъ они заговорятъ обо мнѣ всѣ разомъ и непремѣнно о моихъ странностяхъ, если хотите, даже и о ненормальностяхъ. Именно ненормальностяхъ. Вѣдь не могу же я, такъ родившаяся и такъ выросшая, быть нормальной! Одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ даже присталъ разъ ко мнѣ съ вопросами, смыслъ которыхъ былъ для меня очень ясенъ. Вѣрно я возбуждала недоумѣнія... И именно не мое прошлое, а я, я сама. Вѣдь они же не знали о судьбѣ моей семьи! Слѣдовательно, уже во мнѣ самой начало показываться именно то, чего я такъ боялась всю мою жизнь... О, теперь больше, чѣмъ когда-нибудь, надо держать себя въ рукахъ, не выдавая ни однимъ словомъ ни однимъ движеніемъ того, что творится въ душѣ...

— Отчего вы находите меня странной?—спросила я разъ у одного изъ нихъ.

— Вы... вы точно связанная... Скажете что-нибудь и тотчасъ же начинаете пытливо оглядываться на всѣхъ. Нельзя быть такой сдержанной.

Еще бы мнѣ распустить себя! Воображаю, съ какимъ ужасомъ всѣ они отшатнулись бы отъ меня! Я даже когда остаюсь одна—должна не выпускать изъ рукъ узду, натянутую на самое себя. Когда я пишу, мнѣ хочется, ни съ того ни съ сего, вставить въ мои переводы такіе образы, мысли и впечатлѣнія, которые не имѣютъ съ ними ничего общаго. Навѣрное даже *имъ*—тѣмъ, которые будутъ ихъ читать, эти мѣста показались бы безсмысленными. Я хорошо знаю, что они бы ихъ не поняли!.. А между тѣмъ для меня они яснѣе яснаго. И ужъ именно во мнѣ-то никакихъ недоумѣній не возбуждаютъ! Вѣроятно, моя нервная организація тоньше, чѣмъ у нихъ. Я много думала и думаю надъ этимъ. Чего не замѣчаютъ они, то чувствую и вижу я. Въ спокойное время я пугаюсь такихъ минутъ, но онѣ повторяются все чаще и чаще, и я вижу, наконецъ, что когда я одна, и меня никто не наблюдаетъ—пугаться этихъ ощущеній и впечатлѣній мнѣ нечего. Такъ, напримѣръ, развѣ могутъ они видѣть и испытывать то, что я?.. Вчера, напримѣръ, когда я сидѣла и читала Эдгарда Поэ, хотя ни одного звука не пронеслось позади, а я положительно *знала*, что въ комнату ко мнѣ вошла блѣдная высокая и худощавая женщина, что она стала позади меня, что она наклонилась и изъ-за моего плеча смотрѣла на тѣ строки, на которыхъ

остановились мои глаза. Я бы почувствовала ея дыханіе на моей шеѣ, если бы призраки дышали. Я бы испугалась, если бы уже не привыкла къ этому явленію. Да и чего же было пугаться? Я вѣдь знаю, кто это. Это она—моя страдалица-мать, она—разставшаяся въ могилѣ съ ужаснымъ недугомъ, она— тайная и единственная свидѣтельница моего будничнаго, робкаго и одинокаго существованія... Я часто полуоткрываю глаза въ постели и вижу ее, сидящую около... Но стоитъ только совсѣмъ открыться вѣкамъ, сну пройти окончательно, и ея милое видѣніе мало-по-малу разсѣивается, какъ утренній туманъ въ воздухѣ... Она меня любитъ, она бережетъ меня, она слѣдитъ за мною, но слѣдитъ не какъ тѣ, не подозрѣвая и боясь, а желая предупредить меня отъ опасности, отъ гибели... Я знаю хорошо,—она, испытавшая весь ужасъ страшнаго душевнаго недуга, не отдастъ меня ему; напротивъ, когда придетъ время, она явится и возьметъ меня съ собою... Я знаю, что *тамъ* не страшно... Нисколько не страшно. Напротивъ, тамъ свобода и покой!..

Часто мнѣ это *тамъ* кажется мечтою, вымысломъ больного, ненормальнаго мозга... Лучше сказать—казалось. Теперь я убѣдилась въ томъ, что это *тамъ* — такая же дѣйствительность, какъ бумага, на которой пишу, столъ, на который опираюсь, и стулъ, на которомъ сижу. Только слѣпые не видятъ этого! Къ тому же, если бы я еще сомнѣвалась, то...

Не могу писать. Какъ у меня сегодня разболѣлась голова!.. Особенно правая сторона ея. Лучше лечь и успокоиться сначала».

* * *

«Она приходила опять и такъ грустно смотрѣла на меня, что мнѣ хотѣлось плакать!..»

* * *

«Я опять видѣла мою мать. Зачѣмъ она такъ странно смотритъ на меня, совсѣмъ такъ же, какъ и всѣ,—подозрительно, съ опасеніями? Неужели мнѣ грозитъ ея недугъ? О, если бы только знала заранѣе, я бы не допустила до этого,—никогда!.. Напротивъ, я бы во-время положила конецъ этому больному и глупому существованію».

* * *

«...Какъ все кружится!.. Мои ли это мысли? Развѣ мысль можетъ воплощаться въ образы?..»

«...Кто-то стоитъ въ углу—и такъ смотритъ на меня и манитъ!..»

* * *

«...Голоса какіе-то слышатся—страшно жить. Страшно...»

* * *

«...Сегодня я смотрѣла въ окно: кажется, что могу полетѣть, стоитъ только броситься смѣло и раскинуть руки...»

* * *

«...Ахъ, какъ тяжело! И отчего всѣ они такъ странно смотрятъ на меня? Сейчасъ хозяйка звала

меня кататься на тройкѣ съ какими-то жильцами— я отказалась. Еще бы: подъ видомъ прогулки завезетъ меня въ сумасшедшій домъ и запретъ!.. Я замкнулась на ключъ. Ко мнѣ стучались—притворилась, что сплю. Пошептались и ушли прочь».

* * *

«...Опять приходила мать — грозитъ мнѣ... Шепчетъ: скорѣе!..»

* * *

Тутъ въ дневникѣ Ольги Николаевны уже трудно было разобрать что-нибудь толкомъ. Весь онъ наполненъ набросками и полуфразами, въ родѣ: «это случилось опять—мнѣ кажется, что пора...»; или: «лучше теперь, чѣмъ...», «пожалуй, придетъ моментъ, когда всѣ другіе будутъ казаться мнѣ ненормальными, а я, напротивъ, самой себѣ...» и т. д. Очевидно, все это записывалось на-спѣхъ, лихорадочно—точно рукѣ, писавшей его, не было больше времени, и мысль, руководившая ею, обрывалась на половинѣ... Были даже и стихи, но они оказывались написанными до того неясно, что я ихъ и не привожу здѣсь. Все это заканчивалось двумя словами:

«Пора, иду!..»

Я всталъ и приподнялъ штору моего окна. Скупой, тусклый свѣтъ дождливаго дня, все попрежнему мучительно умиравшаго въ туманѣ, не долго боролся съ блескомъ свѣчей въ моей комнатѣ и не осилилъ его...

Бѣдная Ольга Николаевна!

ОШИБКА.

I.

Вечерня оканчивалась.

Мать Елена, молодая монахиня, только недавно изъ бѣлицъ, стояла въ темномъ уголкѣ, откуда ей была видна старинная церковь съ круглыми колоннами, тонувшими вверху въ таинственномъ сумракѣ купола, черные очерки многочисленныхъ «сестеръ о Христѣ», занимавшихъ всю середину храма, и ярко горящій золоченый иконостасъ съ темными образами въ сверкавшихъ драгоцѣнными каменьями ризахъ. Передъ ними свѣтились неугасимыя лампады. Вздрагивали, разгорались и снова тускли въ разгоряченномъ и словно трепетавшемъ воздухѣ огоньки восковыхъ свѣчекъ, колеблясь во всѣ стороны каждый разъ, когда мимо проходилъ дьяконъ, широко размахивающій руками. Мать Елена все чаще смотрѣла па одну изъ этихъ иконъ, только недавно оконченную ея подругою по кельѣ. Кроткая Матерь Божія точно выдѣлялась изъ темнаго фона, печально глядя большими глазами на благоговѣйно склонявшіяся передъ нею головы. Отъ колыхавшагося пламени лампадъ и свѣчей, казалось, тѣни бѣгутъ по благостному лику. Еленѣ чудилось порою, что скорбныя очи Дѣвы загораются влажнымъ блескомъ, отражая сіяніе зажженныхъ около

огней. Елена даже не молилась. Она вся уходила въ мистическое самозабвеніе, точно душа ея выростала за предѣлы этой церкви, сливаясь съ ея свѣтомъ и мракомъ. Монахиня не слышала старческаго словно всхлипывавшаго голоса священника, какъ не слышала біенія собственнаго сердца, точно онъ звучалъ въ ней самой, а не внѣ ея. Елена не помнила, сколько времени она простояла такъ. Очнулась, когда кто-то ее дернулъ за руку.

Оглянулась.

— Что ужъ, не до завтра стоять тутъ будешь! — недовольно проговорила маленькая, вся сгорбившаяся старуха. — Бѣда съ вами молодыми. Грѣхъ одинъ — лба не перекреститъ и торчитъ забвенно... Ишь, уже и свѣчки-то погасили... Ступай, ступай, нечего гордыню-то тѣшить: ишь-де я какая — другія ушли, а я все здѣсь.

— Прости, мать Серафима! — очнулась монахиня.

— Господь проститъ! Сейчасъ запираю... Ты лобъ-то перекрести, небось, не отвалится рука... Да поклонъ положи... Вотъ такъ... Ну, прощай, Господь съ тобой! Искушеніе съ вами, право!.. Кабы другую игуменью...

Елена, выходя, еще разъ оглянулась на иконостасъ. Теперь ужъ вся церковь была полна тайны и мрака. Сгорбленная старушка шла, ковыляя, къ алтарю, то сливаясь съ смутно обрисовывавшимися колоннами, то выходя изъ-за нихъ. Въ темнотѣ тускло поблескивали золотыя ризы образовъ, свѣчи передъ ними уже были потушены, и только огоньки неугасимыхъ лампадъ трепетали за разноцвѣтными стеклышками, точно и имъ было

страшно ночи, все больше и больше изъ-за черныхъ оконъ и широко раскрытыхъ дверей наполнявшей опустѣлый храмъ. Въ загадочномъ безмолвіи послышался звонъ клю ей, упавшихъ на каменный полъ, точно брякнули чьи-то цѣпи. Мать Серафима, уронившая ихъ, дѣйствительно шла запирать. Она на минуту увидѣла въ дверяхъ силуэтъ молодой монахини, но онъ тотчасъ же слился съ сырою теменью, вмѣстѣ съ которой въ холодную церковь, казалось, тихо и робко вползала осенняя мгла...

— Изъ образованныхъ!—ворчала, задыхаясь и кашляя, старушонка.—Передъ Богомъ-то всѣ равны, что ученые, что неученые... На семи-то языкахъ и согрѣшишь всемеро... Небось, не изъ образованныхъ Христосъ рыбарей въ апостолы сподобилъ... Неученому-то легче... Нѣтъ, кабы другую игуменью, она бы вамъ прижала хвосты, не посмотрѣла бы, что изъ образованныхъ... Мать бы Анемподисту сюда—она тебя сейчасъ бы на кухню посуду мыть благословила. А то бѣлье стирать, либо тѣсто въ квашнѣ мѣсить. Тутъ, матушка, обитель—всѣмъ одна печаль и послушанія одни... Умрешь—у вратъ райскихъ не по-французскому съ апостоломъ Петромъ-то забалакаешь. Онъ тебя такъ-отъ ключомъ въ лобъ удостоитъ. Ступай, скажетъ, образованная, въ геенну огненную, балакай тамъ съ чертями по-французскому. Охъ, искушеніе съ молодыми-то!.. Такъ округъ ихъ нечистый и ходитъ, такъ и ходитъ, уловляя... Нѣтъ, прежде при Анемподистѣ-то лучше было просто. У ней бы образованныя профиранцу не получали, нѣтъ!..

Спотыкаясь и кашляя отъ тумана, охватывавшаго сыростью все ея старое и хилое ревматическое

тѣло, мать Серафима брела по лужамъ, которыхъ не видать было во мракѣ, прямо къ колокольнѣ, по привычному ей за сорокъ лѣтъ пути. Она какъ пришла сюда бѣлицей—такъ ее сейчасъ же опредѣлили къ воротамъ, въ этой колокольнѣ. Съ тѣхъ поръ Серафима ужъ не мѣняла мѣста. Въ убогой келейкѣ, похожей на темную нору, пробитую въ кирпичной толстой стѣнѣ, она состарилась, сгорбилась, переболѣла и тутъ же разсчитывала пріять кончину праведную... Старушку точно забыли. Она, впрочемъ, была довольна. Надъ нею, вверху, гудѣли монастырскіе колокола, у самаго ея уха иногда пронзительно вздрагивалъ звонокъ, проведенный отъ воротъ, куда хотѣлъ войти кто-нибудь посторонній. Часто непогода бѣшеными порывами стучалась къ ней въ двери, выла въ окнѣ, накидывалась на колокольню, потрясая ее,—Серафима только крестилась, повторяя про себя: «Святъ, святъ, святъ! Эко сегодня нечистый-то разыгрался, по чью это онъ душу торопится! Должно-быть, мать Лизавету... Сегодня-то изъ ея кельи такъ кофейнымъ духомъ пахло. По вѣтру-то несло. Соблазнъ одинъ».

Самая келья, куда она вошла теперь, была почти вся занята самодѣльною кроватью, состоявшую изъ досокъ, положенныхъ на обрубки бревенъ. На доскахъ—большой сѣнникъ съ бѣлой подушкой и овчиной, замѣнявшей матери Серафимѣ одѣяло. На крошечномъ подоконникѣ еще болѣе крошечнаго, похожаго на продольную щель, окна стояла коврига хлѣба, буракъ съ квасомъ и соль въ берестяной коробкѣ. Наверху въ углу у простой иконы въ жестяной ризѣ теплилась лампадка, па-

полнявшая эту нору точно болѣзненнымъ свѣтомъ... Мать Серафима, перекрестясь, только что прилегла на постель, какъ висѣвшій надъ нею звонокъ неистово закачался, оглушая старушку, торопливо вскочившую на ноги...

— Слышу, слышу... Эко безпутные... Ну, чего звоните-то!—ворчала она, снимая со стѣны большой и ржавый ключъ. — Ишь музыка какая!.. Слышу!..

Въ воротахъ ее опять охватило холодомъ и сыростью. Она съ усиліемъ вдвинула и повернула въ замкѣ ключъ. Желѣзомъ кованая дверь тихо отворилась, при чемъ, словно жалуясь кому-то, заскрипѣли и завизжали ея старыя и тоже, должно, простуженныя петли...

— Ну, чего звонишь-то?.. Не слышу, что ли!— обратилась мать Серафима къ рослому, закутанному въ мѣховой воротникъ, ливрейному лакею. Ишь тебя вынесло, что лопухъ въ полѣ!.. Къ кому ты?—всматривалась она въ карету, стоявшую за нимъ на улицѣ.

— Поворачивайся, поворачивайся, божья старушка, и безъ тебя найдемъ путь.

— Къ кому? Сказывай! Не велѣно безъ толку-то идоловъ пускать.

— Къ самой игуменьѣ, ворона колоколенная, вотъ къ кому! Отъ генеральши Хлобыстовской! Не узнала, что ли! Возьми глаза въ руки. Кажется, часто тебя подымаю объ эту пору.

— Разсмотришь васъ, какъ же. Какіе такіе узоры на васъ написаны? Всѣ вы, хамки, на одно лицо. Что одинъ, что другой, словно тумбы тротуарныя... Охъ, искушеніе съ вами. Погоди, крикну

сестру Аѳанасію, она сходитъ, доложитъ самой-то... Письмо есть, что ли? Давай-ко... Тоже: «ворона колоколенная»!.. Ты думаешь, въ барское-то одѣлся—и правъ. Нѣтъ, погоди, смертный часъ придетъ, взмолишься... Вспомянешь «ворону-то», ой, какъ вспомянешь, ну, да Господь съ тобой! Что съ тебя, дурака, взыскивать! Съ тебя за твой глупый разумъ и Богъ-то не особенно спроситъ. Ты подумай, несмысленный, въ какое ты мѣсто пришелъ. Тутъ каждый камешекъ моленный да оплаканный!.. А то—«ворона».. Малоумный!

II.

Мать Елена, выйдя изъ опустѣвшей церкви, повернула налѣво и пошла къ себѣ. Тутъ сквозь тьму ненастной ночи блестѣли ряды маленькихъ оконъ то вверху, то внизу. Свѣтъ ихъ отражался въ лужахъ послѣ недавняго дождя, смѣнившагося туманомъ. Правѣе тянулись узенькіе и влажные мостки, по которымъ молодая монахиня шла осторожно, боясь оступиться въ грязь. Огоньки блестѣли изъ многочисленныхъ келій монастыря, безпорядочно, но красиво выстроенныхъ отдѣльными и крошечными домиками, которые жались локтемъ одинъ къ другому. Разумѣется, ночью ихъ не было видно, зато днемъ они представляли оригинальное зрѣлище. Ни одного не было похожаго на сосѣда. Двухъэтажные, съ мезонинчиками, гдѣ жили сестры побогаче, ютились рядомъ съ подслѣповатыми избушками, поставленными на послѣдніе гроши городскими мѣщанками. Кровля одного часто въѣзжала въ окна другому. Выкрашены они

были тоже въ разные цвѣта. Сѣрые, зеленые, алые, синіе, розовые—лѣтомъ они заслонялись отъ свѣта чащею березъ и липъ, которую очень любила птица, слетавшаяся сюда отовсюду крикливыми стаями. Теперь, осенью, деревья обезлиствѣли; и только вѣтеръ пробѣгалъ по ихъ голымъ сучьямъ, съ сухимъ и унылымъ шорохомъ раскачивая ихъ и стучась ими въ окна къ монахинямъ. Не успѣла еще Елена дойти до дому, какъ навстрѣчу ей показался во тьмѣ краснымъ и тусклымъ пятномъ фонарь. Монахини, которая несла его, не было видно вовсе.

— Кто это?—остановилась первая.

— Вы это, матушка?—послышался почти дѣтскій голосокъ. Серебристые тоны его совсѣмъ были не къ лицу этой мрачной и унылой ночи.

— А, Оля, это ты за мной?

— Да!.. Я уже самоваръ поставила, да заждалась, думала, не случилось ли что съ вами.

— Нѣтъ, въ церкви забылась немного, да мать Серафима прогнала.

— И пора. Семь часовъ вѣдь.

— Что ты дѣлала сегодня? Цѣлый день я тебя не видѣла.

— Днемъ рисовала, передъ вечеромъ читать начала, да голова что-то тяжела. Кажется, у меня Іоаннъ Креститель плохо выйдетъ.

— Отчего?

— Никакъ не могу его суровымъ сдѣлать. Все какіе-то мягкіе глаза и улыбка тихая. А вѣдь онъ въ пустынѣ-то, спаленной солнцемъ, грозенъ былъ. Я у Фаррара читала.

— Какъ тебѣ Богъ на душу положитъ, такъ и

рисуй. Я сегодня опять всю службу на твою Божію Матерь проглядѣла.

— Хороша?

— Очень. Этакіе печальные глаза и лицо одухотворенное, точно она знаетъ, что ея Сынъ—Богъ, но какъ человѣкъ за человѣка скорбитъ о Его страданіяхъ, провидитъ ихъ.

— А мать Серафима недовольна.

— А что?—засмѣялась монахиня.

— Не подобаетъ, говоритъ, въ монастыряхъ хорошему письму быти... Въ обителяхъ взглядъ иноческій не долженъ на искусномъ художествѣ останавливаться. Бога видѣть надо духовными, а не тѣлесными очами.

— Ну, Господь съ ней. Она вѣдь ворчитъ-ворчитъ, а добрая. Какъ я больна была, до тебя еще, она отъ постели моей не отходила...

— Вотъ и наше крыльцо; я нарочно за дверьми свѣчку оставила горѣть...

Елена съ ея бѣлицей Олей, которую она пріютила у себя въ кельѣ, отряхиваясь, быстро вошла въ крыльцо, вбѣжала вверхъ по лѣстницѣ и только въ теплой комнатѣ сбросила съ себя короткую черную шубенку. Снявъ черную скуфью, подъ которую были подобраны волосы, она подошла къ печкѣ и, стараясь отогрѣть руки, приложила ихъ къ горячимъ изразцамъ. Домикъ ея былъ выведенъ въ два этажа. Внизу помѣщалась и работала Оля, вверху въ трехъ крошечныхъ комнатахъ ютилась сама хозяйка. Голые полы были чисты. Простой, некрашеный столъ, передъ некрашенымъ и жесткимъ диваномъ, обитымъ парусиной, нѣсколько такихъ же креселъ съ разлапистыми ручками на растопырен-

ныхъ ножкахъ и рядъ соломенныхъ стульевъ у стѣнъ. Надъ диваномъ висѣлъ портретъ невѣдомой затворницы съ сумрачно глядѣвшими изъ-подъ чернаго покрова глазами и сухою складкой совсѣмъ побѣлѣвшихъ губъ. Въ углу въ золоченой ризѣ поблескивалъ образъ, отражая свѣтъ большой висѣвшей передъ нимъ лампады. На столѣ передъ диваномъ горѣла простенькая лампа... При ея свѣтѣ можно было хорошо разсмотрѣть Елену. Ей, очевидно, не было еще и тридцати лѣтъ. Блѣдное и худощавое лицо, уже складывавшееся на монашескій ладъ, хранило слѣды замѣчательной красоты. Особенно были хороши крупные глаза, напоминавшіе своимъ въ одно и то же время страстнымъ и печальнымъ выраженіемъ мученицъ Карло Дольче. Глядя въ нихъ, чувствовалось: не все еще перегорѣло въ этой изстрадавшей душѣ, въ ея вѣчныхъ потемкахъ идетъ борьба съ жизнью и міръ еще не пересталъ ее тянуть къ себѣ, но тѣмъ болѣе эта женщина моритъ себя и убиваетъ свое прошлое. Оно приросло къ ея сердцу, съ кровью приходилось отрывать его, и потому въ глазахъ монахини часто появлялось острое выраженіе чисто физическаго страданія. Ея лицо говорило о безсонныхъ ночахъ, о безмолвныхъ слезахъ, падавшихъ на подушку, о глухихъ рыданіяхъ, когда все тѣло судорожно билось, не хватало воздуха въ кельѣ для груди и бѣдную мать Елену душили ея воспоминанія... Чуткая Оля слышала часто, какъ ея хозяйка задолго до утрени соскакивала съ постели и бросалась къ окну, торопливо растворяя его, чтобы холодомъ освѣжить себя, и потомъ голыми колѣнями становилась на полъ и уже не вставала, стараясь молитвой, изморомъ убить

самую память о чемъ-то еще таившемся въ ея душѣ, какъ красный огонекъ таится въ полупогаснувшихъ угляхъ подъ сѣрымъ налетомъ золы. Ясно, не самый монастырь мучилъ ее до такой степени, а то, что оставалось внѣ его бѣлыхъ стѣнъ, въ томъ враждебномъ ей «мірѣ», который шумнымъ и бурнымъ моремъ бился въ нихъ... Въ обители положеніе матери Елены было, напротивъ, очень сносное. Ее цѣнили какъ инокиню, принесшую съ собою значительный вкладъ, готовую всегда на помощь сестрамъ, нуждавшимся въ ней, и, кромѣ того, какъ «образованную», придававшую этой тихой и мирной пустынѣ особенный блескъ. Когда пріѣзжали къ игуменьѣ знатныя благодѣтельницы, вызывалась обыкновенно для французскаго разговора Елена, и тѣ выходили отсюда вполнѣ очарованныя. Въ городѣ поэтому даже сложилось въ аристократическихъ кружкахъ мнѣніе: «это — нашъ монастырь», въ отличіе отъ другого, на противоположномъ концѣ, у самой рѣки, захудалаго и убогаго, гдѣ «образованныхъ» монахинь не было, и посѣщать который свѣтскимъ барынямъ оказывалось не интереснымъ...

Такъ и въ этотъ разъ: не успѣла она еще приняться за чай, какъ за нею пришли отъ игуменьи.

— Благословите войти!—послышалось за дверями.

— Господь благословитъ...—отвѣтила Елена.— А, это вы, мать Аѳанасія!

— Миръ вамъ... Богъ милости прислалъ... Пожалуйте къ матери Варлаамѣ...

— Что случилось?

— Ничего... Письмо какое-то вамъ привезли... Нужно, сказываютъ, сейчасъ.

Мать Варлаама—игуменья, полная и сырая женщина съ добрымъ и простымъ лицомъ, которое бываетъ у купеческихъ вдовъ, хорошо и сыто жившихъ за смирными и трезвыми мужьями, немного отекшимъ — признакъ начинающейся водянки,— встрѣтила Елену дружескимъ поцѣлуемъ.

— Ну, матушка, собирайся!.. Генеральша Хлобыстовская проситъ тебя отпустить къ нимъ сегодня. Очень надо, вишь, имъ. И карету за тобой прислали...

— Именно теперь бы мнѣ не хотѣлось.

— Ну, вотъ, подруга-то вѣдь твоя по институту и какая сугубая госпожа еще! Поѣзжай, поѣзжай, сдѣлай ты намъ такую милость. Еще вчера мужъ ея изъ имѣнія муки намъ прислалъ, крупъ, масла всякаго... На двухъ подводахъ. Этакимъ ипостаснымъ особамъ отказать невозможно, потому вѣдь онѣ тоже съ козломъ въ головѣ. Скажутъ: «непочтеніе», и охладѣютъ къ обители. Ты ужъ потрудись, мать Елена, на пользу... Это я на тебя какъ послушаніе... Иди, иди!..

И она еще разъ поцѣловала ее на прощанье.

Мать Елена всегда чувствовала себя не совсѣмъ ловко, входя въ гостиную Хлобыстовской. Не то, чтобы хозяйка ей была непріятна,—нѣтъ. Онѣ вмѣстѣ учились и въ пансіонѣ были очень дружны. Мужа-генерала въ городѣ не бывало никогда. Онъ хозяйничалъ въ деревнѣ и очень былъ радъ этому. Во-первыхъ, дѣла ихъ шли хорошо, а во-вторыхъ, сентиментальная супруга доводила часто его пре-

восходительство до остервенѣнія наивностями и сладостями, не совсѣмъ шедшими къ ея возрасту (она была двумя классами старше Елены) и къ ея оплывшей фигурѣ. Генеральша каждый разъ, встрѣчая подругу, невольно подносила батистовый платокъ къ глазамъ, роняла нѣсколько слезинокъ, при чемъ ея щеки, повисшія наподобіе ушей легавой собаки, вздрагивали и багровѣли, а подбородокъ вмѣстѣ со ртомъ сморщивался, какъ хорошо выпеченное яблоко... «Какое самопожертвованіе!» неизмѣнно повторяла про себя Хлобыстовская и потомъ безъ всякой логической связи восклицала, пожимая руки матери Еленѣ:

— *Que vous êtes heureuse, ma chérie!..* Мы тутъ совсѣмъ въ грѣхахъ... какъ это говорятъ?—утопились!

— Погрязли! — каждый разъ подсказывала ей гувернантка ея дѣтей.

— Да, именно... А вы спасаетесь—вся въ Богѣ и для Бога!—И тотчасъ же брала ея руку:—*Puisque vous êtes fatiguée—prenez mon bras!*

— О, я нисколько не устала.

— Однако... мать моя! (Хлобыстовская въ началѣ разговора всегда относилась «по принципу» очень почтительно къ своей младшей подругѣ). Эти утрени, обѣдни, часы, вечерни... Но вамъ за это *тамъ* будетъ хорошо!—И она возводила къ потолку глаза заснувшаго судака.

Такъ и на этотъ разъ: продѣлавъ всю «необходимую», по ея мнѣнію, церемонію, генеральша съ видомъ очаровательной довѣренности схватила Елену подъ руку и повела ее въ будуаръ, гдѣ горѣла лампа и слышался тихій говоръ нѣсколькихъ голосовъ.

— *Viens, chérie, viens! J'ai en toi une confiance absolue...*

«*Confiance absolue*», какъ и ожидала монахиня, оказалась не особенно важной. Въ будуарѣ сидѣла ужъ знакомая Хлобыстовской—благотворительная дама съ глазами на выкатѣ и такою щучьею, зубастою пастью, передъ которою невольно трепетали всѣ покровительствуемые ею бѣдняки. Благотворительная дама, какъ увидѣла мать Елену, тотчасъ же еще неистовѣе выкатила глаза и голосомъ, напоминавшимъ московскую Рыкалову, забасила:

— Ужъ какъ я рада, какъ рада... Святая женщина!—вздохнула она кузнечными мѣхами, невѣдомо какъ умѣщавшимися въ ея груди, обращаясь къ сидѣвшей рядомъ молоденькой дѣвушкѣ въ скромномъ черномъ платьицѣ, улыбавшейся уже Еленѣ. Монахиня, увидѣвъ ее, тоже просіяла. Это была племянница генеральши, учившаяся на Бестужевскихъ курсахъ.

— И Саша здѣсь! Когда ты пріѣхала, родная?

— Да наши курсы на двѣ недѣли закрылись, ну, я сейчасъ и домой.

— Вы лучше бы, чѣмъ на курсахъ, у нея вотъ учились!—басила благотворительная дама.—У матери Елены. Ну, матушка, за глаза и въ глаза одно скажу: любуюсь я на васъ, какъ вы въ такіе годы и при красотѣ все претерпѣли и всѣ грѣхи побѣдили!..

— Зачѣмъ ты за мной посылала?—обратилась Елена, невольно смущенная, къ Хлобыстовской.

— Видишь ли, мы рѣшили вышить золотомъ и шелками по голубому бархату пелену для твоей обители, но безъ тебя какъ безъ рукъ. Никакъ

согласиться не можемъ относительно подбора цвѣтовъ и рисунка...

Столикъ около былъ заваленъ. Почти до самаго пола падали концы большого куска бархата, уже приготовленнаго для работы. На немъ лежали мотки шелка, мягко блестѣвшаго подъ свѣтомъ матовой лампы, пучки крученыхъ золотыхъ шнурковъ и такой же бахромы. Какъ только подошла мать Елена, дамы съ головой ушли въ рѣшеніе затруднительнаго вопроса, пустить ли золотые листы и красные цвѣты или по бѣлому стеблю разбросать красные листы и вверху золотомъ вышить махровыя розы...

— Это будетъ безвкусно и невѣрно,—замѣтила монахиня.

— А какъ же, какъ по-вашему? — забезпокоилась благотворительная дама. — Просвѣтите насъ, милочка... То-есть, матушка! — спохватилась она. — Мы какъ во тьмѣ безъ васъ...

Саша едва дождалась конца этого совѣщанія, и когда генеральша, собравъ мотки шелка и золота, вмѣстѣ съ бархатомъ унесла ихъ въ другую комнату, она подошла къ монахинѣ, обняла ее и тихо повела за собой въ гостиную.

— Я сегодня была у васъ въ церкви. Высматривала, высматривала васъ, такъ и не нашла.

— Я всегда въ углу направо стою.

— Въ потемочкахъ?

— Да, — засмѣялась монахиня. — Тамъ лучше. Никто тебя не видитъ.

— Это-то и нехорошо. Я хотѣла полюбоваться на васъ и не могла.

— Ну, тоже нашла чѣмъ любоваться.

— Нѣтъ, вы красавица совсѣмъ въ монашескомъ платьѣ... Точно изъ картины... Поютъ у васъ отлично. Да, кстати: вѣдь у васъ, сказываютъ, превосходный голосъ...

— Кто это сосплетничалъ?

— Тетя. Она говоритъ, что въ институтѣ вы очаровывали всѣхъ и поете удивительно.

— Она слишкомъ пристрастна. Я совсѣмъ не заслуживаю.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, отчего вы въ монастырѣ на клиросѣ не участвуете?

— Не хочу. — И Елена точно потемнѣла.

— Простите меня, — робко заговорила Саша, чуть касаясь ея руки. — Я вѣдь такая... можетъ-быть, обидѣла васъ чѣмъ или встревожила? Я—глупая.

— Нѣтъ, — ласково улыбнулась та. — Дѣло не въ томъ совсѣмъ... Видишь ли, мнѣ не слѣдуетъ пѣть. Ты этого не понимаешь. Вотъ Анна Петровна по добротѣ говоритъ, что я всѣ грѣхи побѣдила. И неправда. Монахиня должна стараться, чтобы ей ничто міра не напоминало. Не тянуло... Никто вѣдь не видитъ, — тихо продолжала она, — какъ мучаемся и бьемся мы. Станешь пѣть, сейчасъ прошлое всплываетъ. Я пробовала прежде. Съ церковнаго-то вдругъ у себя какъ-то на *Casta diva* сошло, а потомъ такъ къ горлу приступило, такъ затомило, потянуло ко всему брошенному и схороненному... Намъ трудно. Подвигъ тяжело достается, и пока закостенѣешь—переживешь много... Это издали кажется, что у насъ миръ и тишина. А загляни въ душу къ намъ, инокинямъ. Въ каждой — свои бури и смятенія... Ну, заболталась я съ тобой. Приходи завтра ко мнѣ. Придешь?

— Непремѣнно,—пожала ей руку Саша.

— Люблю я тебя. Хорошая ты... А пока до свиданія... Господь тебя благослови!

— Куда, куда?—всполошилась генеральша.—И не думай безъ чаю... Не отпущу... Послѣ чаю заложатъ тебѣ карету и отвезутъ. Нѣтъ, пожалуйста... Кстати, ты матери игуменьѣ (добрая она у васъ!)...

— Святая женщина!—пробасила Анна Петровна.

— Отвезешь варенья... Я въ корзину нѣсколько банокъ велѣла поставить. Она, кажется, айвовое съ чаемъ любитъ. Тебѣ я не предлагаю. Ты отринула все это, ты вѣдь не въ здѣшнемъ мірѣ пребываешь. — И собачьи уши у хозяйки опять запрыгали, а на судачьи глаза навернулись слезы.— Ахъ, какая у насъ въ институтѣ она была—милая, хорошенькая, точеная вся. Личико какъ у фарфоровой куколки. Всѣ на нее любовались. Даже подруги у нея руки цѣловали. Скажи, ты вспоминаешь когда-нибудь нашъ институтъ?

— Да, отчего же! — разсѣянно проговорила Елена, почти не слушая ея.

— Кстати. Вѣдь ты не отсюда. Я помню, ты изъ института домой уѣхала куда-то далеко-далеко,—чуть ли не на Кавказъ. Мнѣ писали тогда...

Монахиня низко опустила голову, чтобы не дать замѣтить охватившаго ее волненія. Когда она подняла ее, лицо ея стало еще блѣднѣе, а въ глазахъ, и безъ того печальныхъ, мелькнуло знакомое Сашѣ выраженіе чисто физической, едва одолѣваемой боли. Къ счастью, генеральша долго не могла остановиться на одномъ и томъ же. Она вдругъ, ни съ того ни съ сего, сорвалась съ мѣста и торопливо заговорила:

— Мы тебя сегодня угостимъ музыкой. Я знаю, ты любишь. Это вѣдь не грѣшно, вѣдь и святая Сесиль, или—какъ это будетъ?—*sainte Cécile*...

— Цецилія!—вставила худая и длинная гувернантка, точно изъ стѣны выдѣлившаяся въ эту минуту.

— Вотъ-вотъ... Вѣдь и она, говорятъ, *elle a joué la musique*... И я слышала—недурно. Ее даже святою сдѣлали за это. Ты это въ книгахъ найдешь, право!

Елена, пытавшаяся уѣхать, вдругъ осталась.

Ее точно что-то въ сердце толкнуло, захотѣлось звуковъ хотя на минуту. Она нерѣшительно сѣла рядомъ съ Сашей и совершенно безсознательно поправила ей сбившуюся на лобъ прядь волосъ.

— Это ты будешь играть?—шопотомъ спросила она.

— Да. Чего вы хотите? Я очень серьезнаго ничего не умѣю. Все небольшія вещицы.

— Новаго, чего бы я не знала... Старое все связано съ разными воспоминаніями, отъ которыхъ жутко... Вѣдь я уже пятый годъ въ монастырѣ—я думаю, много есть незнакомаго... А впрочемъ хоть и изъ стараго. Ты вѣдь знаешь, вѣроятно, бетховенскую сонату *Quasi una fantasia*?

— Еще бы! Вы ее хотите слышать? Старая вещь, но «вѣчно юная»,—какъ говорилъ нашъ учитель музыки.

— Да... Почему-то особенно сегодня тянетъ меня къ ней. Потомъ, сама знаю, буду мучиться.

— Простите меня, но такъ странно видѣть васъ монахиней!

— Отчего же! Вѣдь у насъ вся семья была глубоко религіозна. Моя бабушка тоже этимъ кончила; мать всю жизнь по монастырямъ да по святымъ мѣстамъ ѣздила... Потомъ у насъ такая тишина. Сердцу разбитому хорошо за нашими стѣнами...

Саша пошла къ роялю.

Генеральша Хлобыстовская тотчасъ же подсѣла къ монахинѣ и сентиментально взяла ее за руку.

— Помнишь, какъ мы въ институтѣ въ четыре руки съ тобой играли?

— И притомъ—довольно плохо!

— Да, но все-таки... *Les souvenirs sont toujour agréables*... А «батюшку» не забыла, который приходилъ насъ слушать?.. Ахъ! Я была въ него влюблена!.. Виновата, я и забыла, что при тебѣ нельзя... Ты вѣдь отъ всего этого въ сторонѣ теперь. Счастливая!

— А развѣ ты несчастна?

— Нѣтъ, но все-таки... Жизнь не то, чѣмъ намъ она казалась за синими занавѣсами и шторами нашего института. Мой мужъ—я на него не жалуюсь—но онъ совершенно лишенъ нѣжности, способности увлечься и забыться.

Еще мгновеніе, и она бы разрыдалась, но, къ счастію, ее прервали первые звуки клавишей...

Мать-Елена слушала ихъ какъ очарованная. Богъ знаетъ, что они напоминали ей изъ далекаго-далекаго теперь прошлаго, такого далекаго, что и дороги къ нему, казалось, не было вовсе. Словно въявь воскресла передъ нею милая родина. Все равно, ей уже не видать ея никогда, и только въ воспоминаніяхъ чудился ей задумчивый говоръ чи-

наръ и меланхолическій говоръ ручьевъ, бѣжавшихъ подъ ними... Солнце горячее; темно восточное небо... О, это небо! Напрасно она хотѣла угадать его оттѣнки здѣсь въ ясные и теплые дни— слишкомъ холодна сѣверная высь, слишкомъ сѣры и блеклы ея краски. Она закрыла глаза. Ей хотѣлось уйти въ себя самое, не видѣть ничего кругомъ. Въ ея памяти проходили дивныя лунныя ночи съ замирающей пѣсней вдали, съ розами, прильнувшими къ окну, съ серебристымъ сіяніемъ, словно курившимся надъ темными кустами. И этотъ ароматъ, наполнявшій аллеи стараго сада! Ей плакать хочется, а волшебная, вся проникнутая истомой и страстью, соната все шире и шире льется кругомъ, и въ каждомъ звукѣ ея точно бьются пульсы, каждый аккордъ живетъ, и теплится, и тоскуетъ, и мучится, и къ свѣту стремится, и ловитъ другіе, чтобы вмѣстѣ съ ними больно и безотходно стучаться въ ея измученное сердце... Да... Она знаетъ теперь, что для нея нѣтъ надежды, совсѣмъ нѣтъ. Еще недавно она мечтала: когда «старая», никому не высказанная повѣсть ея жизни забудется, когда воспоминанія замрутъ въ раннихъ могилахъ, и она будетъ въ состояніи смотрѣть на прошлое такъ же равнодушно, какъ смотритъ на туманы осени, скупое освѣщеніе тусклаго лѣта, снѣга суровой зимы— вернется домой. Вернется къ «своимъ», счастливымъ и свѣтлымъ. И они встрѣтятъ ее радостно, не зная, чѣмъ она имъ пожертвовала, чтобы имъ хорошо и тепло жилось. Увы! Теперь она поняла, что какъ ни зарывай въ землю память пережитаго—съ каждымъ мирно вздрагивающимъ звукомъ, съ мечтательнымъ лучомъ мѣсяца,—словомъ, сказаннымъ сердцу и отъ

сердца—оно воскреснетъ разомъ и подымется передъ нею еще ярче, еще *больнѣе* прежняго... Нѣтъ, ей не вернуться... Никогда, никогда. Тамъ ей будетъ еще тяжелѣе, чѣмъ здѣсь... Впрочемъ, что жъ,— время, одиночество, тайныя муки ея еще несмирившейся души медленно, но вѣрно дѣлаютъ свое... Еще нѣсколько лѣтъ — она высохнетъ вся, зачахнетъ и такъ же спокойно уляжется съ сложенными на груди руками, съ серьезнымъ и недвижнымъ лицомъ, какъ лежитъ теперь въ монастырской часовнѣ вчера скончавшаяся монахиня. Такъ же мучилась и изболѣла вся. Въ обитель пришла здоровой и сильной—и въ три года стала восковая, точно сквозная... Счастливая — она уже кончила счеты съ жизнью!..

А они — эти радостные и веселые люди на ея милой родинѣ вспоминаютъ ли ее когда-нибудь или сочли умершей и давно забыли? И вдругъ почему-то ей невыносимо тяжело стало это черное платье; эта скуфья словно стальнымъ обручемъ сдавила ей голову. Она разомъ встала, не ожидая конца сонаты...

— Что съ тобой?—удержала ее за руку хозяйка.

— Не могу, это слишкомъ сильно для меня. Пожалуйста, отпусти меня... Голова разболѣлась.

— Карета готова... Завтра я буду у тебя,— не удерживала ея уже генеральша.

Монахиня простилась со всѣми, горячо обняла Сашу и вышла...

— Тутъ этотъ пакетъ для матери Варлаамы. А это, въ газетахъ завернутое,—для тебя.

— Зачѣмъ мнѣ? — съ невольнымъ укоромъ вырвалось у Елены.—Ты знаешь, я не люблю.

— Свою бѣлицу Олю угостишь отъ меня... Не все же молиться, бываетъ и отдыхъ.

— Спасибо... Благослови васъ Богъ!

И, откинувшись въ уголъ кареты, подъ грохотъ колесъ она разомъ почувствовала знакомый приливъ неизъяснимой тоски. Ей неудержимо захотѣлось незамѣтно отворить дверцу, выскочить въ туманъ и холодъ и броситься, куда глаза глядятъ— въ невѣдомую даль, только подальше отсюда... Она дѣйствительно опустила окно и выдвинула разгоряченную голову наружу. Вѣтеръ несъ прямо въ лицо ей влажную пыль; нѣсколько комковъ грязи изъ-подъ колесъ полетѣли въ нее... Она не чувствовала ничего. Сердце тщетно старалось выбиться изъ желѣзной руки, давившей его все больше и больше... Когда за ней, скрипя на ржавыхъ петляхъ, заперлись двери монастыря вѣчно ворчавшей матерью Серафимой, Еленѣ показалось, что крышка гроба стукнула надъ нею...

IV.

Несмотря на холодъ осенней ночи, вернувшись въ келью, Елена отворила форточку и жадно задышала сырымъ и насквозь проникавшимъ воздухомъ, струившимся снаружи въ жарко натопленную комнату... Она боялась этой ночи, зная, что опять не сомкнетъ глазъ и промучится до заутрени. Подойдя къ шкапу, она налила себѣ чуть ли не полрюмки валеріановыхъ капель, но на этотъ разъ онѣ не помогли ей,—слишкомъ были возбуждены нервы. Снизу полуодѣтая прибѣжала Оля, но тотчасъ же завернулась въ теплое одѣяло.

— Какъ у васъ холодно!..

— А мнѣ душно, воздуха не хватаетъ, должно-быть, астма развивается,—принудила себя улыбнуться ей Елена.

— Вы простудитесь, смотрите.

— Не все ли равно,—точно мимоходомъ уронила монахиня.—Оля, вотъ гостинцы для васъ послала Хлобыстовская.

— Я возьму,—обрадовалась бѣлица.—Хотя у насъ и увѣряютъ, что это грѣхъ, а я не слушаю.

И Оля, смѣясь, начала развертывать пакетъ

— Варенье, пастила, конфеты—отлично. Ничего, значитъ, скоромнаго.

— Только, пожалуйста, все бери. Я терпѣть не могу сладкаго. Ну, а теперь иди, Оля, внизъ!.. Я хочу одна. Я не молилась еще сегодня.

Монахиня заперла за нею дверь, и, дождавшись, когда скрипъ шаговъ по лѣстницѣ замеръ внизу, тихо пошла къ себѣ въ спальню. Это была крохотная комната, часть которой занималъ кіотъ, со множествомъ старинныхъ образовъ въ дорогихъ окладахъ, и жесткая постель въ противоположномъ углу. Выбѣленныя стѣны были голы, некрашеный полъ—тоже. Хлобыстовская какъ-то прислала ей коверъ, но Елена отдала его въ церковь; послѣ того ея подруга уже не повторяла попытокъ обставить жизнь монахини нѣсколько удобнѣе. На столикѣ—Евангеліе въ дорогомъ переплетѣ, «Жизнь Іисуса Христа» Фаррара и еще нѣсколько духовныхъ книгъ. Подъ кровать былъ вдвинутъ сундукъ, гдѣ у хозяйки хранились ея вещи. Старыя письма, портреты, — все то, что она про себя называла кладбищемъ.

Елена, недолго посидѣвъ на постели, встала и зажгла лампады и свѣчи передъ иконами. Въ окутанной до сихъ поръ сумракомъ комнатѣ ярко заблестѣло золото и серебро массивныхъ ризъ, радужными искрами засверкали вѣнчики иконъ, и только самые лики святыхъ смотрѣли хмуро и сурово, едва различаемые отъ темнаго фона. Она вспомнила, какъ ея мать и бабушка цѣлыми ночами молились передъ этими же образами, и невольно благоговѣйное чувство вливалось въ ея измученную грудь. Только ихъ однихъ и взяла съ собою съ далекой родины монахиня, когда ушла оттуда, чтобы укрыться въ казавшемся ей совсѣмъ незнакомомъ городѣ. Эти образа были для нея живою связью съ прошлымъ. Въ углу, заставленномъ ими, ей иногда удавалось находить себѣ убѣжище отъ воспоминаній, одолѣвавшихъ ее отовсюду...

Едва ли только сегодня она отобьется отъ нихъ!

Чувствовала, что не въ силахъ молиться. Губы ея шептали знакомыя слова, рука механически крестилась, но въ сердцѣ не было ни тишины ни смиренія. Елена стала на колѣни, сжала виски себѣ и зажмурилась. Она хотѣла силою заставить себя думать о молитвѣ, до боли заставить, и опять опускала руки передъ памятью прошлаго, заслонявшаго передъ нею и огоньки лампадъ, и сіяніе свѣчей, и яркія ризы образовъ. Издалека, наперекоръ годамъ и разстоянію, неслись къ ней цѣлые рои знакомыхъ лицъ, звучали милые голоса, точно маня ее къ себѣ, и она невольно прислушивалась къ нимъ, уже не удерживая трепета отзывавшагося имъ сердца. Голоса эти росли и росли; скоро вся

ея келья была полна ими, отовсюду ее обступили дорогіе люди... «Какъ ты исхудала и измѣнилась!— говорили они ей.—Зачѣмъ ты оставила насъ, ушла такъ далеко?»... И Елена, точно боясь оскорбить святыни воспоминаніями, опять потушила свѣчи и ушла въ другую комнату. Ей хотѣлось заморить и утомить себя ходьбою изъ угла въ уголъ—авось, вмѣстѣ съ усталью вернется къ ней и ея спокойствіе. Но все было напрасно: призраки слѣдовали за нею, рядомъ и передъ ней. Наклоняясь, заглядывали ей въ лицо. Становились въ темные углы и оттуда печально смотрѣли на нее. Мистическая тишина ночи, казалось, наполнялась отзвучіями ихъ голосовъ, шорохомъ едва-едва различаемыхъ шаговъ, шелестомъ платья... Елена уже не боролась. Какъ измученный пловецъ, она покорно отдалась волнамъ, уносившимъ ее въ далекую-далекую страну прошлаго. Этихъ прожитыхъ здѣсь пяти лѣтъ жизни, самоистязанія, молитвы, борьбы съ самой собою — точно не бывало вовсе. Она не замѣчала даже на себѣ чернаго платья монахини, скуфья ужъ не давила ея головы... И самыя стѣны ея кельи раздвинулись и ушли куда-то; цѣлый міръ широко лежитъ теперь передъ нею—и на какихъ-то невѣдомыхъ крылахъ она носится среди его простора.

Да... *То* время,—время, которое теперь захватило ее въ свой волшебный кругъ, было тоже печально, тоже сплошь наполнялось тяжелою борьбой. Она помнитъ хорошо его—каждую минуту, каждое мгновеніе. Эту довѣрчивую сестренку, милая головка которой, съ ясными и теплыми глазками, такъ часто склонялась на ея грудь, нѣжныя ручки,

обвивавшія ея шею, и словно вздрагивавшій отъ волненія голосокъ, передававшій ей маленькія тайны... Какъ она слушала его, какъ ласкала эту довѣрчивую дѣвушку, какъ легко становилось на сердцѣ у Елены, когда она клала руку на плечо сестры и притягивала ее къ себѣ... Между ними была большая разница въ лѣтахъ. Сестрѣ минуло восемнадцать, когда ей уже было двадцать три. Она, старшая, всегда казалась слишкомъ серьезной, можетъ-быть, благодаря материнскому вліянію,— вѣчнымъ скитаніямъ по монастырямъ, благоговѣйной атмосферѣ молитвъ и тихихъ созерцаній, окружавшихъ ее отовсюду. Младшая росла уже иначе и совсѣмъ не напоминала ея. Этой шаловливой бабочкѣ нуженъ былъ солнечный свѣтъ, яркое небо, зелень луговъ и ароматы цвѣточныхъ куртинъ. Ея смѣхъ былъ такъ искрененъ и заразителенъ! Даже Елена, которую и тогда шутя звали монахиней, бывало, поддавалась вліянію ея шумной веселости и иногда въ счастливыя минуты смѣялась вмѣстѣ съ ней, радуясь ея безоблачному счастью.

Но больше всего она любила оставаться съ нею по вечерамъ у окна и слушать довѣрчивую исповѣдь дѣвушки, передававшей ей наивно всѣ свои милыя радости и маленькія огорченія... Отчего же разъ она оттолкнула ее отъ себя и встала точно подъ ударомъ?.. Отчего разъ только нѣсколько словъ, сказанныхъ ея любимицей, обожгли ее и хотя на минуту, но заставили ее возненавидѣть чудную птичку, искавшую себѣ защиты на ея груди?.. Что сказала она?.. Елену и теперь обдало жаромъ при этомъ воспоминаніи. Нина призналась ей, краснѣя и чуть не плача, что она уже второй

годъ любитъ, что она не можетъ жить безъ этого, что за послѣднее время она чувствуетъ себя даже несчастной... И когда на вопросъ Елены она назвала своего избранника,—старшая сестра отбросила ее отъ себя такъ, что Нина ударилась объ уголъ рядомъ стоявшаго зеркала... «Монахиня» вспомнила, что она тогда, съ сильно бьющимся сердцемъ и разгорѣвшимся лицомъ, подъ вліяніемъ безумнаго гнѣва, не хотѣла слышать рыданій сестры, такъ искренно каявшейся ей, и ушла отъ нея прочь къ себѣ и заперлась и не отворяла, когда та стучалась къ ней въ дверь, какъ будто въ сердце. Только подъ утро—отошло. Злоба и бѣшенство смѣнились грустною нѣжностью и негодованіемъ на свою жестокость... Она сама пошла къ сестрѣ и застала ее спавшей одѣтою на кровати. Лицо Нины еще хранило слѣды слезъ, и когда Елена обняла ее и поцѣловала, нѣжныя ручки сестры опять довѣрчиво обвились вокругъ ея шеи. Ни искры обиды не было въ ней, и опять плача, но уже счастливыми слезами, она говорила:

— Я знала, что ты недолго будешь сердиться, потому что... потому что и сердиться не на что. Я вѣдь ужъ не ребенокъ. Мнѣ девятнадцатый годъ... Не могла же я молчать тебѣ объ этомъ.

— А онъ—онъ какъ относится къ тебѣ?

И, задавая этотъ роковой вопросъ, она прижала рукою сердце, точно боясь, что оно выдастъ ее своимъ біеніемъ...

— Не знаю; я думаю, что онъ тоже любитъ меня... Онъ такъ нѣженъ и ласковъ со мною!..

Больше ни о чемъ не спрашивала Елена... Она помнитъ, что принудила себя даже засмѣяться, до

самаго утра ласкала Нину... Даже была искренна, желая ей счастья, хотя у самой на душѣ росло безграничное и холодное отчаяніе, которое съ тѣхъ поръ ужъ не оставляло ея вовсе...

«Нѣженъ и ласковъ со мною!» Но вѣдь и съ нею, съ Еленой, онъ былъ нѣженъ и ласковъ. Вѣдь Елена не разъ замѣчала его восторженный взглядъ, слѣдившій за нею, за «монахиней». Ей чудилось, что самый голосъ его мѣнялся, когда онъ говорилъ ей... Значитъ, она ошибалась и только ошибалась, значитъ, не она, вовсе не она причина этихъ волненій... Да и куда же ей, сумрачной и молчаливой, сравниться съ этимъ очаровательнымъ ребенкомъ, съ «Ниной»! Какъ она была слѣпа до сихъ поръ, слѣпа и не только слѣпа, но и смѣшна, положимъ, никому, кромѣ себя самой... Какая самонадѣянность!.. Онъ просто любилъ ея сестру, а къ ней, старшей, относился съ бо́льшимъ участіемъ и большей дружбой, чѣмъ къ другимъ... Вотъ и все...

Она помнитъ, что на другой же день послѣ исповѣди Нины она уѣхала къ роднымъ одна, на нѣсколько дней, чтобы тамъ наединѣ уже обдумать, что ей дѣлать, какъ выйти изъ этого невыносимаго положенія... Ей начинало казаться, что онъ колеблется въ выборѣ между нею и Ниной... Ниной, которую ей поручила мать, умирая... Неужели она станетъ между нею и ея счастьемъ? Неужели она заставитъ плакать эти ясные глазки и своимъ эгоизмомъ разобьетъ всю жизнь «милой дѣвочки»? Напротивъ, если она уѣдетъ—никакихъ колебаній не будетъ для него... А что станется съ нею?

Одна безъ Нины, она потомъ хорошо обдумала все... Очень хорошо. Ее мать еще пріучила къ

самопожертвованію, да и не прочнымъ казалось ей счастіе, основанное на гибели близкихъ людей... Даже если бы *онъ* еще не любилъ Нины, уѣзжая, она ее поручитъ ему, и сближеніе ихъ будетъ только дѣломъ времени. Разумѣется, при этомъ горечь разлуки съ нею не станетъ слишкомъ ужъ тяжела для ея сестры. Та займется своимъ маленькимъ романомъ—люди, которые любятъ, могутъ обойтись на первыхъ порахъ безъ цѣлаго міра. Она имъ совсѣмъ не нужна. Разумѣется, *ея* жизнь кончена. Она уже не полюбитъ никого больше. Такія натуры не мѣняются и не забываютъ. Оставаться съ ними, любоваться на ихъ счастіе—ей будетъ слишкомъ, слишкомъ тяжело. Она бы и не вынесла этого. Развѣ потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, когда все въ душѣ ея уляжется и въ изломѣ болѣть не будетъ — дѣло другое. Она придетъ къ нимъ, останется съ ними, любоваться на нихъ, няньчить ихъ дѣтей... Елена не долго думала. Такія—если рѣшаются, такъ рѣшаются безповоротно и навсегда. Она должна отказаться отъ всѣхъ, забиться въ такую щель, гдѣ бы ея не нашли, а если бы и нашли, такъ для *него* бы уже не было никакой надежды. Спрятаться на нѣсколько лѣтъ хотя...

И тутъ-то она вспомнила миръ и показную тишину монастыря, который когда-то она посѣщала съ матерью. Она вспомнила эту кроткую и благоговѣйную или казавшуюся ей такою со стороны атмосферу, въ которой, какъ она тогда имѣла наивность думать, невольно успокоивались и отходили измученные и разбитые жизнью, обремененные и обиженные ею. Передъ нею словно въявь вы-

росла фигура матери Меланіи, пережившей всѣ несчастія, доступныя человѣку. Какою кротостью, миромъ и покоемъ дышало ея лицо! Какъ незлобиво было ея когда-то неотходчивое сердце... Разъ рѣшившись, Елена не отказывалась. Она убѣдила тетку переѣхать пока къ себѣ и, вернувшись съ нею вечеромъ, застала Ниночку и *его* въ саду, осыпанномъ росою, полномъ соловьиныхъ пѣсенъ,—саду, словно трепетавшемъ отъ восторга подъ тихимъ вѣтеркомъ, сладостно шевелившимся въ его густолистныхъ вѣтвяхъ. Вѣнчики цвѣтовъ словно кадили благоуханіями... Еленѣ почудилось, что Нина и *онъ* были какъ-то *особенно* веселы и радостны...

На другой же день она объявила сестрѣ, что ей надо ѣхать въ Петербургъ. Пока тетя останется съ Ниной... Прощаясь съ ними *на время,* она *не хотѣла* замѣтить его грусти и поручила ему свою милую дѣвочку... Въ Петербургѣ она осталась дольше, чѣмъ думала, писала домой все рѣже и рѣже, и письма Нины, дышавшія тоской, объясняла разлукою съ собой, нарушеніемъ привычки ея постоянно видѣть Елену. Наконецъ, уѣхавъ за границу, Елена послала домой странную вѣсть. Она сообщила воимъ, что не знаетъ, гдѣ будетъ, что едва ли вернется въ Россію, не думаетъ, что можно будетъ ей часто писать къ нимъ, что она, Елена, очень частлива и желаетъ, чтобы и имъ было такъ же хорошо, какъ и ей.

Она и дѣйствительно уѣхала за границу.

Оттуда она еще разъ увѣдомила Нину о «своемъ счастьи»... Это было ея послѣднимъ письмомъ. Черезъ мѣсяцъ она вернулась въ Россію, наудачу выбрала неизвѣстный ей городокъ съ женскимъ

монастыремъ и, вступивъ въ него бѣлицей,—пропала для цѣлаго міра. Она даже не знала, искали ли ее тамъ или нѣтъ. Между нею и ея прошлымъ точно опустилась завѣса. И опустилась навсегда... Пять долгихъ лѣтъ прошло послѣ того, мучительныхъ, полныхъ слезъ и безмолвныхъ рыданій. Она устроила—по крайней мѣрѣ, думала такъ—*ихъ* счастіе, но сама не обрѣла тишины, благовѣйнаго покоя, о которомъ мечтала... Напротивъ, годы не приносили съ собою забвенія. Чѣмъ дальше, тѣмъ становилось хуже. Воспоминанія все неотступнѣе и неотступнѣе сдвигались вокругъ, и сквозь ихъ туманъ она уже не различала вѣчныхъ идеаловъ, которые должны были спасти ее отъ самой себя. Елена чувствовала: ей не отойти, не уходиться никогда; ей нельзя будетъ вернуться къ дорогимъ и милымъ людямъ...

Часто въ постели, сложивъ на груди похудѣвшія руки, она думала о томъ, какъ точно такъ же будетъ она недвижно лежать въ гробу, и какъ тогда станутъ уже безсильны для нея всѣ ея муки и томленія... Смерть не пугала ея — напротивъ, улыбалась ей, какъ улыбается узнику свѣтлый часъ освобожденія изъ-за желѣзныхъ рѣшетокъ и тяжелыхъ замковъ душной темницы... Ей было сладостно мечтать объ этомъ, и теперь она нарочно легла и вытянулась, воображая себя мертвою и спокойною. Но смерть подходила медленно, слишкомъ медленно. Или силы было много или ей еще суждено было пережить до конца непосильную борьбу съ самой собою...

Тьма еще смотрѣла на нее изъ оконъ ея кельи, когда въ церкви зазвонили къ заутрени. Елена

быстро одѣлась и вышла... Со всѣхъ сторонъ тихо направлялись къ свѣтившемуся издали входу въ храмъ такіе же, какъ и она, черные силуэты монахинь... Нѣкоторыя, встрѣчаясь съ нею, кланялись ей; другія проходили мимо, не замѣчая. Безмолвіе царило вокругъ; только вѣтеръ, пробѣгая по голымъ сучьямъ, уныло посвистывалъ. Заставлялъ вздрагивать деревья отъ холода. Гдѣ-то далеко за стѣнами монастыря лаяли собаки... Елена прошла въ свой уголокъ, въ «потемочки», какъ называла его сама, и забилась тамъ, никому не видимая. Она прислонилась головой къ каменной стѣнѣ. Холодъ былъ пріятенъ ея разгорѣвшимся щекамъ... Но и тутъ ей не удалось забыться. Напротивъ, ее душило все и давило. Та же тоска неотходчиво стала съ нею рядомъ и неотступно заглядывала ей въ глаза и сердце. Ей чудилось: кроткая Богоматерь именно надъ ней плачетъ тамъ подъ перебѣгающимъ сіяніемъ восковыхъ свѣчъ и колеблющимся пламенемъ лампадъ... Можетъ-быть, если бы Елена могла подѣлиться съ кѣмъ-нибудь мукою, ей стало бы легче... Но никого не было около... И только мать Серафима, проходя мимо, ворчала на нее.

— Что истуканомъ стоишь-то?.. Лобъ перекрести, оглашенная!.. Ахъ, бѣда съ молодыми-то!.. Искушеніе съ вами. На святыя иконы глазами взираете, а сердца-то далеко у васъ. Ты, мать, о смертномъ часѣ подумай. Тогда и рада будешь помолиться, да у ручекъ силы не будетъ — для честного Креста и не подымутся... Истинно горе съ вами, съ молодыми!—ужъ далеко ворчала она, проходя за темныя колонны церкви...

И когда утреня кончилась, еще не разсвѣтало.

Въ той же тьмѣ Елена шла назадъ въ келью, и та же тьма была въ ея сердцѣ. Отчего именно сегодня ея больше, чѣмъ когда-нибудь?

V.

Пробило шесть часовъ.

Въ окнахъ начало свѣтать. Сѣроватые тоны смѣнили недавнюю тьму, такъ пристально глядѣвшую оттуда на унылую келью и ходившую по ней изъ угла въ уголъ черную женщину. Утро начиналось туманное, такъ что Елена, взглядывая во дворъ монастыря, едва различала сучья деревьевъ и строгій силуэтъ собора вдали. Монахиня знала, что ей не заснуть и не успокоиться сегодня. Нѣсколько разъ, пробужденная ея шагами, Оля подходила и стучалась къ ней въ двери. Но Елена каждый разъ отсылала ее внизъ, прося не безпокоиться.

— Не нужно ли вамъ чего?—спрашивала ее та.

— Ничего, кромѣ покоя, котораго ни ты ни кто другой дать мнѣ не можетъ.

— Вы бы легли, матушка.

— Пробовала... Оставь меня, Оля. Въ церкви увидимся...

И Оля уходила опять, и вновь кругомъ воцарялась тишина, въ которой странно звучали мѣрные шаги монахини. Она знала, что на ея прошломъ нѣтъ упрека. Она хорошо поступила, очень

хорошо. Все свое отдала—и сердце и душу. Почему же сознаніе этого не вноситъ въ ея мысли кроткаго мира? Значитъ, неправда, что доброе дѣло само по себѣ вознаграждается. Она доходила до ропота и потомъ опять принималась молиться, чтобы ей, слабой и больной, прощено было сомнѣніе. Но молитва оказывалась не искренней; она вся оставалась на устахъ ея, не переходя въ сердце.

Наконецъ у нея голова закружилась отъ устали. Елена обрадовалась. Признакъ, что скоро она вся, точно вся, закостенѣетъ и если не заснетъ, то хоть на минуту забудется. Она пошла къ себѣ въ спальню и прилегла. На столикѣ у ея постели горѣла свѣча. Ей лѣнь было потушить ее. Монахиня долго лежала съ закрытыми глазами, но сонъ не шелъ къ ней вовсе. Въ окнѣ становилось свѣтлѣе и свѣтлѣе. Огонекъ свѣчи и пламя лампадъ давно потускли. Они горѣли, не разливая вокругъ трепетнаго сіянія. Поблекли и ризы иконъ, блиставшихъ передъ ней, погасли и ихъ драгоцѣнные вѣнчики. Только темные лики попрежнему сурово и мрачно смотрѣли на несчастную женщину, не осилѣвшую самое себя.

Елена повернулась и, откинувъ руку, нечаянно уронила газеты, сложенныя Олей къ ней на столъ. Старыя газеты, въ которыя были завернуты подарки генеральши Хлобыстовской!.. Не зная, зачѣмъ дѣлаетъ это, она привстала, наклонилась и подняла ихъ измятые листы... Положила опять на столъ, только развернула машинально одинъ, разсѣянно взглянула на него и отложила въ сторону, на постель. Газета, шурша, завалилась за нею на полъ. Еще нѣсколько мгновеній пролежала Елена

и встала опять. Отъ нечего-дѣлать ей захотѣлось узнать, что творилось на бѣломъ свѣтѣ—хотя нѣсколько лѣтъ назадъ... нѣсколько лѣтъ безъ слѣда пролетѣвшихъ надъ тихою обителью. Она мимоходомъ пробѣжала столбца два. Начала было какой-то судебный процессъ, но его подробности оскорбили ея иноческое цѣломудріе. Взяла другой листокъ, пробѣжала его оглавленіе и живо, съ забившимся сердцемъ перевернула первую страницу. Тамъ должна была находиться корреспонденція изъ ея родного города, о которомъ такъ давно-давно она не слышала ничего. Она сначала только взглянула на заголовокъ: оказалось, что нумеръ этотъ вышелъ болѣе трехъ лѣтъ тому назадъ, т.-е. вскорѣ послѣ того, какъ она совсѣмъ исчезла для близкихъ.

Елена начала читать и вдругъ почувствовала, что вся кровь отхлынула отъ ея сердца и потомъ прилила къ нему. Она схватилась за грудь, совершенно забывшись простонала, такъ что заснувшая опять было внизу Оля вскочила съ постели... Точно не повѣривъ глазамъ, монахиня еще разъ пробѣжала газету... Нѣтъ, опять онѣ здѣсь, эти проклятыя строки... Елена чувствовала, тутъ, въ этой комнатѣ, совершается что-то страшное... хуже убійства, какой-то ужасъ наводящее преступленіе!.. Она еще не измѣрила всей силы его, еще не поняла всего... порывъ безумія отуманивалъ ея мозгъ... Она взяла газету и, сама не зная, что дѣлаетъ, протянула ее къ сумрачнымъ ликамъ, сурово смотрѣвшимъ на нее изъ-за своихъ золотыхъ ризъ.

— Вотъ... вотъ!..

А что вотъ—и сама не понимаетъ...

Невѣдомый корреспондентъ въ письмѣ изъ ея родного города въ довольно пошловатомъ стилѣ, какъ обыкновенно, разсказывалъ слѣдующее:

«Беллетристамъ и поэтамъ романы дѣйствительной жизни вообще являются опасными конкурентами. На-дняхъ печальная хроника событій нашей провинціальной жизни обогатилась однимъ при такой обстановкѣ, какую, право, не придумаешь разомъ. Жила здѣсь почтенная и милая семья, состоявшая изъ двухъ сестеръ-дѣвушекъ, изъ коихъ одной, старшей, было уже около 25, а младшей только что минуло 19. Обѣ онѣ, какъ думаютъ здѣсь догадливые люди, полюбили одного и того же молодого человѣка, занимавшаго у насъ отвѣтственный постъ, на котораго наши маменьки, имѣющія взрослыхъ дочекъ, поглядывали не безъ сочувственныхъ воздыханій. Между сестрами послѣдовало объясненіе, и старшая почти годъ тому назадъ, не желая становиться на дорогѣ у младшей, свеликодушничала, уѣхавъ совсѣмъ. Сначала увѣряла, что ея отсутствіе продлится недолго, а потомъ увѣдомила родныхъ, что отправляется за границу и, по всей вѣроятности, не вернется вовсе... Тутъ-то и разыгралась драма, которая глубоко потрясла наше маленькое общество. Оказалось, что молодой человѣкъ любилъ именно отсутствующую и только ждалъ ея возвращенія, чтобы объясниться, а къ младшей сестрѣ чувствовалъ исключительно братскую нѣжность. Когда полученіе писемъ отъ первой совершенно прекратилось—явились смутные слухи, что она гдѣ-нибудь внѣ Россіи погибла, умерла, попала подъ поѣздъ, провалилась во время замлетрясенія, утонула на пароходѣ — толковали

разно. Это все такъ поразило молодого человѣка, что онъ, никого не предупредивъ, перевелся въ другое мѣсто и вчера, ни съ кѣмъ не прощаясь, уѣхалъ, а сегодня любившую его несчастную дѣвушку нашли въ ея спальнѣ застрѣлившейся. На ея столѣ была записка, столь же краткая, сколько и трогательная:

«Сестра, милая!.. Гдѣ ты?.. Отзовись, прости... Я не могла, не смѣла жить... Нина».

— Нѣтъ, нѣтъ... не можетъ быть... Это мнѣ показалось, я въ бреду! — безпорядочно роняла Елена, не выпуская газеты изъ рукъ.

Она подошла къ окну, еще разъ взглянула на смятый листокъ...

Да, вотъ онѣ, эти ужасныя строки... Онѣ не пропадаютъ, не смѣняются другими. Онѣ изъ красныхъ переходятъ въ желтыя, въ огнистыя... Каждая буква ихъ впивается въ ея сердце, сосетъ его. Вотъ это: «Сестра, милая... Гдѣ ты, отзовись... Прости... Я не могла—не смѣла жить... Нина».

Елена сорвала свою скуфью и съ безумнымъ хохотомъ кинулась къ дверямъ. Онѣ были заперты. Воображая, что ихъ задерживаютъ оттуда снаружи, она стала колотиться, рыдая и смѣясь въ одно и то же время. Потомъ безсознательно коснувшись ключа, повернула его и мимо побѣлѣвшей, какъ стѣна, Оли сбѣжала, дико крича во все горло, во дворъ, въ слякоть и грязь, стоявшую тамъ. Черезъ минуту она, хрипло бранясь и проклиная, билась у монастырскихъ воротъ, къ ужасу матери Серафимы, которая, вся дрожа и крестясь, бѣжала къ игуменьѣ, повторяя про себя:

— Святъ, святъ, святъ... Искушеніе... Господи!.. Не даромъ-то ночью вѣтромъ-то стучало въ окна... Грѣхъ съ этими молодыми!..

И на дикіе крики матери Елены изо всѣхъ келій, полуодѣтыя и испуганныя, выбѣгали въ холодъ сырого и туманнаго утра монахини *).

---

*) Во избѣжаніе пестроты и недоумѣній авторъ оставилъ за монахиней ея свѣтское имя Елены. При остригѣ оно обыкновенно смѣняется на начинающееся съ той же буквы.

ГЕРКУЛЕСЪ.

Какъ-то лѣтомъ я попалъ въ одинъ изъ южныхъ нашихъ городовъ. Днемъ они невыносимы: безпощадно жаритъ солнце, пыль стоитъ такая, что кажется воздуха нѣтъ—дышать нечѣмъ. Отъ стѣнъ и тротуаровъ—какъ отъ накалившейся печки. Зато вечера и ночи голубые, задумчивые, прохладные. Въ синей безднѣ неба робко теплятся звѣзды. Въ сумракѣ смутно намѣчены ряды высокихъ тополей. А изъ-за нихъ такъ мечтательно, такъ красиво смотритъ молодой мѣсяцъ. Подымется—подъ его ласковымъ свѣтомъ бѣлые дома стоятъ заколдованные, рѣчушка каждою струйкою играетъ съ его лучами, будто перекидывается ими. А кругомъ, Богъ вѣсть въ какую даль, стелется усыпленная ароматомъ травъ и цвѣтовъ степь съ курганами, съ глубокими балками, гдѣ хоронится вода, съ громадными отарами овецъ и коней съ капризными извивами къ самому морю добѣгающей дороги... Бродишь вечеромъ по городу и слышишь тихій говоръ въ сторонѣ, изрѣдка—пѣсню... На лавкахъ у воротъ коротаютъ сумеречную пору какіе-то люди. Въ окнахъ свѣтятся огоньки. Такъ тихо, что тишина одурманиваетъ... Все падаетъ въ груди! Ни нашего разлада, ни горечи несбывшихся на-

деждъ, ни тоски ожиданія, ни печали объ утратахъ... Точно медлительныя, нѣжныя волны подхватили и, чуть укачивая, уносятъ тебя. Куда? Не все ли равно? Лишь бы подальше отъ будней, отъ скучнаго однообразія дѣйствительности въ сказочную даль, гдѣ такъ нѣжно и ласково улыбаются призраки несбыточнаго счастья.

Именно въ такой вечеръ пошелъ я къ соборной площади и только тамъ вспомнилъ, что въ городѣ сегодня открылась ярмарка. Гулъ стоялъ надъ этимъ обыкновенно безлюднымъ пустыремъ. На краю его чуть выдѣлялась изъ сумрака высокая колокольня, и въ одинъ миражъ сливались купола церкви, кровли домовъ и верхушки отуманеннаго весеннею дремою сада. Ближе ряды наскоро сколоченныхъ лавокъ, силуэты жующихъ коней, грузно лежащіе на землѣ быки, тупо и равнодушно провожающіе васъ спокойнымъ взглядомъ и гдѣ-то въ углу— красное пламя факеловъ и веселые крики... Я пошелъ туда: на ярмарку явились и акробаты. Толпа раздвинулась большимъ кругомъ, посрединѣ котораго въ пыли лежалъ рваный коверъ и на немъ во всемъ величіи предстоялъ въ красномъ трико голорукій атлетъ. Въ ночномъ воздухѣ чувствовалось движеніе: не вѣтерокъ еще, но достаточное, чтобы колыхать красные языки пламени... Поэтому факелы дымили въ лица зрителей, но на это никто изъ нихъ не обращалъ вниманія. Всѣ жадно смотрѣли на силача, на его мускулы, лежавшіе какими-то комьями, точно это было не настоящее тѣло, а цѣлыми горстями брошенный гипсъ. Румяное лицо, кудлатая голова съ замѣтною лысиною. Атлетъ былъ громаденъ и игралъ гирями, съ глухими ударами.

тяжело падавшими на коверъ, какъ дѣти играютъ мячикомъ.

— Почтеннѣйшій публикумъ... Теперь я будетъ вамъ показайтъ завзѣмъ озобенны фокусъ-покусъ... Прошу ваше вниманіе.

Ну, думаю, бродячіе нѣмцы явились, и куда только они не суются! «Почтеннѣйшій публикумъ» рты разѣвала, когда силачъ нанизывалъ себѣ на руки по десятку гирь и героическою поступью, гордо закинувъ голову назадъ, обходилъ зрителей... Потомъ онъ сбрасывалъ желѣзные и чугунные шары и вдругъ какъ-то совсѣмъ глупо отставлялъ одну ногу назадъ, руку подносилъ къ сердцу, а другой посылалъ поцѣлуи ободраннымъ городскимъ мѣщанамъ съ сверхъестественно вывернутыми мордами. Эта поза летящаго амура такъ не шла къ обтянутому въ трико гиганту, что всѣ невольно смѣялись. Его помощникъ, надрываясь, тащилъ гири и ядра еще громаднѣе, сваливалъ ихъ на землю, подымая каждый разъ подъ носъ «почтеннѣйшей публикумъ» тучи пыли. Атлетъ въ это время объяснялъ «высокоблагороднымъ господамъ», что его наперерывъ приглашали къ себѣ знаменитѣйшіе цирки во всѣхъ «подвстолицахъ» и даже «въ трехъ Европахъ». Но какъ онъ работать на хозяевъ не хочетъ и «великій всероссійскій націонъ» предпочитаетъ одобрявшимъ его иностраннымъ монархамъ, то и ѣздитъ съ ярмарки на ярмарку. Сейчасъ онъ будетъ имѣть «великаго честью показать своего невѣроятнаго и неподражаемаго главнаго нумеру», за который персидскій шахъ и турецкій султанъ наперерывъ звали его «въ Америку». Но сначала онъ проситъ оцѣнить его искусство. При этомъ онъ бралъ мѣдную чашку

и обходилъ «публикумъ», держа гири на плечахъ и на рукахъ. Мѣдяки со звономъ летѣли туда, но атлетъ еще болѣе раздувалъ усердіе «высокоблагородныхъ господъ», потрясая чашей...

— Да какъ звать-то тебя?..—крикнули ему.

— Геркулесъ...

Толпа покатилась, какъ будто онъ сказалъ нѣчто невѣроятно остроумное.

— Ахъ, комаръ те заклюй!.. Какъ? какъ?

— Геркулесъ... Я уже двадцатый годъ въ геркулесахъ...

Случайно я замѣтилъ около телѣги съ предметами, необходимыми для артистической дѣятельности Геркулеса, маленькую, хохлатую, хилую и чахлую женщину въ обтертомъ пальто съ оборваннымъ стеклярусомъ и въ шляпкѣ съ растрепаннымъ пижономъ. Она сидѣла неподвижно и только моргала красными припухшими вѣками на публику. Атлетъ, собравъ мѣдяки, поднесъ ей чашу съ ними. Она прикинула на взглядъ и зашептала: «Поди, поди еще разъ... Тутъ мало»...

— Вы, вѣрно, жена его?—спросилъ я у нея, когда Геркулесъ началъ второй обходъ.

— Супруга-съ... Точно...

— Онъ давно въ Россіи?..

— Кто?—подняла она на меня выцвѣтшіе глаза.

— Да вашъ мужъ. Вѣдь онъ нѣмецъ?

— Сохрани Господи!.. Настоящій православный!... Мы отродясь калуцкіе.

— Чего же это онъ по-русски говорить не умѣетъ...

— Помилуйте!—обидѣлась она.—Развѣ артисту можно, какъ инымъ прочимъ, разговаривать просто... Его такъ Францъ училъ...

— Какой Франецъ?

— Который въ Одестѣ балаганъ держалъ... «Пріютъ музовъ»...

— Что?—не сообразилъ я сразу.

— Пріютъ музовъ...

— Вѣрно: «музъ»?

— Точно-съ... У этого самаго Франеца... Они нѣмцы были, такъ у нихъ мужъ сначала въ мальчикахъ служилъ, демоновъ и ангеловъ изображалъ, смотря по представленію; но послѣ Франецъ замѣтилъ, какая у него сила, и говоритъ: я изъ тебя Геркулеса сдѣлаю. Ну, дай ему Богъ царствіе небесное, дѣйствительно сдѣлалъ.

— Какъ же звать вашего мужа?

— Евграфъ Словечкинъ. А я изъ урожденныхъ дьяконскихъ дѣвицъ!—вдругъ объявила она мнѣ съ гордостью.

— Виноватъ, я не понялъ.

— Папенька мой, Александръ Фараоновъ дьякономъ былъ...

— Какъ же вы это замужъ вышли?

— Любовь-съ. Что дѣлать! Увидавши Евграфа въ Геркулесахъ, совсѣмъ себя потеряла. Папенька, нынче они на покоѣ живутъ, сначала скалкой убѣдить меня хотѣли, но я все превозмогла и ушла съ нимъ, съ Евграфомъ... Гдѣ же другого такого мущину сыщешь?.. На еройскихъ картинахъ развѣ... И потомъ они, все-таки, съ дозволенія начальства—артисты. Вотъ только пагуба имъ отъ купеческаго уваженія бываетъ. Потому—у купца, извѣстно, есть деньги, ну, поэтому купцу лестно посмотрѣть, какъ Геркулесы пьютъ... и поютъ-съ... А опослѣ ему командуютъ: высади-ка головой двери... По-

кажи признательность. А онъ, что жъ? Онъ только по наружности егантъ, а душой—овца! И показываетъ усердіе... Дверь-то высадитъ, а потомъ болѣетъ... Потому онъ какъ: для фурору-то съ разбѣгу въ дверь башкой!

Она, очевидно, обрадовалась возможности наговориться со мною всласть. Въ самомъ дѣлѣ, цѣлые вечера сидѣть и моргать на Геркулеса, въ то время, какъ онъ показываетъ искусство «высокоблагородной мастеровщинѣ», одурѣешь поневолѣ. Вѣроятно, и теперь она бы все мнѣ выболтала про свое житье-бытье, но артистъ Словечкинъ кончилъ представленіе и, какъ-то ладонью, ребромъ, сбрасывая со лба и лысины потъ, подошелъ къ ней.

— Давай скорѣй спинжакъ!..

Онъ его надѣлъ прямо на трико, не стѣсняясь тѣмъ, что на ногахъ, кромѣ него, ничего не было, и принялся убирать ядра, гири и какіе-то чугунные утюги, которые онъ, минуту назадъ, на полотенцѣ цѣлую дюжину держалъ въ зубахъ. Только теперь, когда урожденная дѣвица Фараонова встала, я замѣтилъ, до чего она крохотна рядомъ съ громадною фигурою мужа.

Геркулесъ уложилъ «препарады», какъ онъ называлъ ихъ, въ ящикъ, стоявшій въ большой телѣгѣ. Ему помогалъ худой и длинный парень съ разъ на всю жизнь чему-то удивившимся лицомъ. Это оказался его братъ. Мадамъ Словечкина объяснила, что онъ когда-то въ «пріютѣ музъ» изображалъ «человѣка-змѣю», но, повредивъ себѣ «становую жилу», можетъ теперь только бить въ барабанъ при началѣ представленія. Когда все было кончено и народъ, стоявшій у телѣги стѣною, на-

чалъ расходиться, я замѣтилъ, что издали нацѣливаются на Геркулеса два несомнѣнныхъ уѣздныхъ купца. Щеки дакированныя, скуластыя, губы жирныя и на выпускъ, носы несуразные, крупные, глаза въ щелкахъ, бородки животрепящія, про которыя обыкновенно говорится, «что ты хочешь—не растетъ да и только на пустомъ мѣстѣ». Они издали дѣлали знаки атлету, но тотъ сначала притворялся, что не замѣчаетъ, очевидно, блюдя артистическое достоинство, и не только не замѣчаетъ, но и весьма даже равнодушенъ. По крайней мѣрѣ, распахнувъ «спинжакъ» и оставаясь въ трико, онъ геройски сложилъ на груди руки и сталъ въ позу у телѣги. Купцы подошли ближе. Замѣчательно они были въ одно лицо!..

— Какъ васъ... господинъ Еркулесъ... Подьте сюда!..

Другой въ это время подмигивалъ куда-то налѣво, гдѣ свѣтился цѣлый этажъ оконъ и откуда чуть доносился растерзанный вой шарманки.

— Вы меня?—какъ будто только сейчасъ вышелъ изъ задумчивости Словечкинъ.

— Точно что... потому мы завсегда...

— Для господъ артистовъ!—подтвердилъ другой.

— Селяночку ежели...

— Евграфъ, не ходи!—точно изъ-подъ телѣги взвилась его жена.—Не пущу... Не смѣй...

— Мадамъ...—убѣдительно заговорилъ купецъ.—Мы—безъ поврежденія... Не то чтобы изгиляться, какъ иные необразованные, напротивъ, подъ него подражать!.. Мы только селяночку, вопче пивца, чайку, напримѣръ, ежели, и по домамъ. Потому у насъ въ нашихъ хлѣвахъ тоже существуютъ собственноручныя дамы. Мы понимаемъ.

Но, очевидно, ее убѣдить нельзя было такъ скоро. Она стала настражѣ передъ мужемъ, заслоняя его, хотя доходила ему головою при этомъ только до пояса.

— Вы, госпожа, отсуньтесь...—уговаривали ее купцы.—У насъ это, чтобы членовредительства или смертнаго бою, не бываетъ. У насъ разговоръ божественный. Вотъ пожалуйте двугривенный на мармаладъ.

Она взяла, но все-таки смотрѣла на нихъ подозрительно.

— А свѣчкой головы ему палить не станете?

— Господи!

— И водкой изъ горлышка поить не будете?

— Какая она такая водка! — съ удивленіемъ взглянулъ одинъ купецъ на другого.

— У насъ этихъ привилегіевъ нѣтъ, у насъ народъ съ понятіемъ.

— То-то... Потому въ Лубнахъ ему господа купцы по всему портрету ляписомъ дикіе узоры разрисовали. Мѣсяца два съ ними ходилъ потомъ.

— Мати пресвятая!—воскликнули тѣ.

— Если тихо-благородно!—сдавалась госпожа Словечкина.—Ты панталоны бы надѣлъ?..

— Нѣтъ, нѣтъ,— взволновались купцы.— Дозвольте такъ, безъ нижняго этажу,— потому они артисты. Ихъ въ своемъ мундирѣ надо, чтобы всѣ видѣли, какъ мы ихъ цѣнимъ и угощаемъ.

Черезъ нѣсколько секундъ громадная фигура Геркулеса исчезла вдали, сопровождаемая купцами.

— Филатъ!..

Человѣкъ-змѣя вынырнулъ откуда-то...

— Подь-ко... присмотри за братомъ. Самъ знаешь, какой онъ.

Филатъ послѣдовалъ за Словечкинымъ, и теперь я тоже замѣтилъ, что у него «становая жила», несомнѣнно, повреждена. На ходу онъ какъ-то вихлялъ всѣмъ тѣломъ, точно посторонняя сила отбрасывала его корпусъ прочь...

— Можетъ, и хорошіе купцы... Какъ ихъ узнаешь! — задумалась бѣдная женщина. — Въ Васильковѣ купцы смирные, зато чиновники бунтуютъ, въ Чугуевѣ чиновникъ деликатный, зато купцы совсѣмъ бузуки турецкіе; а вотъ въ Чигиринѣ что купцы, что чиновники однимъ миромъ мазаны. Не жизнь, а разстрѣлъ.

И, подѣлившись со мною географическими свѣдѣніями, она простилась и пошла къ себѣ въ телѣгу...

Пробираясь между жевавшими жвачку быками, рядами возовъ съ ворохами товара, минуя смутно темнѣвшія на площади груды глиняной посуды, коней, стоявшихъ неподвижно и опустившихъ головы, переступая черезъ людей, лежавшихъ на землѣ вповалку, я скоро оставилъ позади площадь и уже тихими, словно вымершими улицами, гдѣ ни въ одномъ окнѣ не свѣтилось огня, вышелъ за городъ... Бѣлая слободка разбѣжалась по сторонамъ... Собака откуда-то неистово залаяла на меня и долго, когда я уже былъ въ степи, хрипло негодовала на безпутно шляющагося полуночника... А степь была удивительно хороша... Вся курилась запахомъ невидимыхъ цвѣтовъ, таинственно разстилалась темною гладью въ мистическую даль, гдѣ чуть намѣчивался курганъ... Въ высотѣ трепетали безчисленныя созвѣздія, храня въ вѣчныхъ сочетаніяхъ своихъ

страшный и неразгаданный смыслъ... Эта бездна ночного неба тянула къ себѣ. Одному, затерянному въ степи, казалась такъ близка въ эти минуты! Она охватывала меня отовсюду какимъ-то ужасомъ. Еще мгновеніе—и я, мнѣ чудилось, сорвусь и упаду въ ея неоглядныя глубины. Что-то шарахнулось въ сторонѣ и зашуршало въ травѣ... Мятой запахло... кануперомъ... свѣжестью потянуло, точно вѣтеръ проснулся и лѣниво заструилъ застоявшійся воздухъ. Курганъ выросъ передо мною. И какъ-то разомъ: то все его вдалекѣ видѣлъ, а тутъ я у самаго подъема очутился... Взошелъ на него. Какой витязь покоится подъ этими глыбами земли? Тысячи корней сквозь нее пробиваются къ нему, но далеко имъ до каменной могилы... Невѣдомый народъ схоронилъ въ ней вождя?.. Былъ ли онъ убитъ въ кипѣвшемъ здѣсь бою, во главѣ обернутыхъ въ звѣриныя шкуры воиновъ, косматыхъ и сильныхъ, или умеръ на пути къ далекому теплому голубому морю, куда, точно въ обѣтованный рай, подъ благословенныя небеса юга онъ велъ послушную дружину?.. Сколько женъ, рабовъ и коней было зарѣзано надъ его трупомъ и схоронено сюда же!.. Какую тайну хранитъ этотъ безмолвный холмъ?.. Мимо него потомъ неслись вѣка, племена, событія... Изъ невѣдомыхъ глубинъ выходили отряды за отрядами, жадные, смѣлые, и все туда, гдѣ въ нѣгѣ и развратѣ, въ бѣлыхъ мраморахъ и бронзахъ стояли старые города, насилуя цѣлый міръ, одурѣлые отъ рабства, задыхавшіеся въ крови отвратительныхъ зрѣлищъ, только и дѣйствовавшихъ на отупѣлые и усталые нервы... А потомъ: эта удалая быль степного разгула, эпическая сказка казачины, За-

порожья!.. Образы за образами! Изъ безчисленныхъ могилъ вставали поколѣнія, и снова среди безлюдья и тишины кипѣла черезъ край неугомонная жизнь, ураганомъ неслась куда-то, чуть не къ самому небу вскидывая пѣну бѣшеныхъ волнъ... Чу!.. Что это?—Изъ города едва слышенъ бой часовъ. Неужели уже одиннадцать? Сейчасъ тамъ все заснетъ. Пора назадъ...

Мой путь лежалъ опять черезъ площадь. Она вся уже спала; только въ трактирѣ ради ярмарки еще свѣтились огни и сидѣлъ народъ... Я направился туда—и вдругъ мимо меня шмыгнуло что-то крохотное, маленькое... Я не различилъ, а скорѣй угадалъ жену Геркулеса...

— Это вы?—спросилъ я ее.

Она оглянулась на меня и, махнувъ рукой, побѣжала впередъ, потомъ точно вспомнила меня, вдругъ остановилась и, дождавшись, когда я ее нагналъ, нервно и возбужденно заговорила:

— Представьте, господинъ... Купцы эти, которые... благочестивые...

— Ну?

— Тоже-съ, какъ и въ Чигиринѣ... Филатъ сейчасъ прибѣжалъ, говоритъ, Евграфу ужъ смолой носъ мажутъ, и пуху приказали половому изъ подушки достать, а онъ, дуракъ, какъ въ циркѣ у Франеца, демоновъ имъ и ангеловъ представляетъ.

Я оглянулся и замѣтилъ длинный силуэтъ вихлявшаго за нею человѣка-змѣи...

Мы вмѣстѣ дошли до трактира. Мадамъ Словечкина припала носомъ къ стеклу, подобно опытному полководцу, предварительно изслѣдуя мѣстность, а я отворилъ двери—и меня разомъ обдало

безсвязнымъ и безтолковымъ гомономъ, смѣхомъ, визгомъ шарманки, запахомъ пригорѣлаго масла, какою-то парью, которая неизбѣжно стоитъ во всѣхъ ярмарочныхъ заведеніяхъ этого рода... Посреди залы Геркулесъ стоялъ головою внизъ, при чемъ ноги его носками держались за подбородокъ, а два купца, стоя на стульяхъ, поливали его изъ горлышка бутылки пивомъ. Носъ у «артиста» былъ дѣйствительно вымазанъ смолой...

— Ай да, мы!—орали купцы.—Господа коммерсанты—любо?

— То-есть—добѣла! Вотъ какъ!..

— У насъ такая фантазія есть, чтобы сейчасъ господина артиста съ музыкой, по городу и во всѣхъ гиряхъ на страхъ врагамъ...

— У отца протопопа козелъ здоровъ бодаться.

— Ну?

— Чудесно бы... Стравить ихъ, ежели съ Еркулесомъ...

— Аккуратно на манеръ Плевны выйдетъ...

— Да какъ его, козла-то, ночью добудешь...

— А ежели вѣрнаго человѣка къ кучеру спосылать?.. Такъ и такъ-де персицкіе купцы-негоціанты третьей гильдіи козла на подержаніе требуютъ...

— Напрокатъ.

— Вотъ-вотъ, и вамъ-де будетъ вознагражденіе по заслугѣ...

Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное...

Дверь въ трактиръ распахнулась и на порогѣ его, какъ Немизида, показалась хохлатая мадамъ Словечкина съ розгами въ рукахъ и за нею разъ навсегда удивленное лицо человѣка-змѣи... Герку-

лесъ въ артистическомъ экстазѣ не видѣлъ ихъ и продолжалъ «дѣлать», какъ выражались купцы... На свое горе онъ колесомъ покатился къ дверямъ, но тутъ его ждало полное посрамленіе...

— Ты опять, расподлая твоя душа!—взвизгнула урожденная дѣвица Фараонова.—Ты опять...

И такъ заработала лозой по «ногамъ въ трикѣ», что господинъ артистъ разомъ оказался въ положеніи, указанномъ самою природою, т.-е. головою вверхъ.

— Домой... Пошелъ домой...—визжала она.

Купцы было сунулись, но «мадамъ», очевидно, обладала настоящею боевою опытностью.

— Филатъ, бѣги къ полицмейстеру...

— Помилуйте, госпожа... Развѣ мы что... Вотъ вашъ супругъ—получайте въ цѣлости... Безо всякаго бою... Даже сохранной расписки мы съ васъ обратно не требуемъ.

Геркулесъ, понурясь и на ходу захватывая пиджакъ, пошелъ къ дверямъ.

Нужно было видѣть это шествіе! Весь состоявшій изъ мускуловъ колоссъ, поджимая ноги, быстро двигался по площади, а дьяконская дочка хлестала его по этимъ ногамъ розгами и подгоняла его, взвизгивая, то справа, то слѣва.

— Ты бы ее наотмашь!..—кричали ему купцы.

— Никакъ нельзя-съ, господа-публика.

— Почему нельзя? Развѣ показано женѣ да мужа тиранить?

— Невозможно...

— Дѣлай, Евграфъ, по скулѣ ее...

Но тотъ, не отвѣчая, шелъ дальше... Только чтобы отдышаться, онъ остановился и, несмотря

на градъ ударовъ крохотной и чахлой женщины, резонно объяснилъ купцамъ:

— Я до ее рукой коснуться боюсь — потому ушибу. А если наотмашь ее, такъ мнѣ безпремѣнно на каторгу итти. Окромя слякоти, ничего отъ нее не останется.

— Филатъ, загоняй, загоняй его съ боку! — тормошилась та.

И Геркулесъ опять пустился со всѣхъ ногъ къ телѣгѣ...

Мнѣ часто приходилось видѣть потомъ Словечкина. Онъ дѣйствительно продѣлывалъ необыкновенныя вещи. Ядра какъ будто сами катались по его плечамъ и шеѣ, и какія ядра! У любого слона они, пожалуй, перешибли бы кость. Желѣзные утюги летали, какъ мячики, въ воздухъ, онъ всего себя обвѣшивалъ ими и чуть не съ двадцатипудовою тяжестью обходилъ публику. Собирая жалкіе гроши, принималъ граціозныя позы, уподобляясь летящему ангелу, опрокидывался на спину и игралъ чугунными шарами, взбрасывая ихъ съ рукъ на ступни и обратно, хотя одного такого было достаточно, чтобы размозжить ему черепъ. И вѣчно при немъ настражѣ стояли человѣкъ-змѣя и тщедушная жена. Она выхватывала его, случалось, изъ самаго кипятка уѣзднаго разгула и все тою же неизмѣнною хворостиною гнала большое животное въ телѣгу на «спокой», какъ говорила она. Укладываясь спать, онъ обыкновенно укорялъ ее:

— Ты что меня передъ всѣмъ опчествомъ скандалишь...

— Я еще не такъ... Ты у меня погоди, буйла!

— Какъ же? — заинтересовался буйволъ.

— А вотъ ременку куплю...

— Ну!—изумлялся онъ ея изобрѣтательности, точно вовсе не о немъ шло дѣло.

— Будь спокоенъ! Трехвосткой-то тебя такъ пройму...

— Это точно... трехвостка куда значительнѣе...

И на этомъ обыкновенно засыпалъ.

Человѣка-змѣю я рѣдко слышалъ. Онъ все время молчалъ, только когда братъ его продѣлывалъ «нумера», Филатъ, волнуясь, жадно смотрѣлъ на него и вдругъ пробовалъ самъ въ сторонкѣ извиваться совсѣмъ не по-человѣчески. Нагнется, вывернется—и вдругъ охнетъ.

— Что съ тобою?

— Тутъ,—дотрогивался онъ до поясницы,—не пускаетъ. Пружина, апарадъ самый—лопнула!

И больше ни слова...

Разъ только его подпоили купцы, и онъ вдругъ разбушевался. Схватилъ одного изъ нихъ за бороду и, не выпуская ея, точно это былъ для него единственный якорь спасенія, живописалъ:

— Ты думаешь про меня какъ? Филатъ по-твоему кто?.. Что я нонче въ апарадѣ поврежденъ, такъ я и ничтожество! Врешь, подлецъ,—по всей подвселенной человѣка-змѣю знали. Про меня во какими аршинными буквами афишки печатали. Потреты по полтиннику шелковыя дамы покупали—вотъ какъ... Развѣ я въ такомъ трикѣ,—презрительно косился онъ на Геркулеса,—развѣ я въ такомъ трикѣ ходилъ?.. Посмотрѣлъ бы ты на меня—ослѣпъ. Потому все въ бисерѣ—въ чешуѣ, какъ настоящая рыба. Одного блеску—гусарскаго мундира не надо... Ты какъ полагаешь—я вокругъ себя два раза

обертывался... Зубами за пятки себя кусалъ. Бывало, публика кричитъ бисъ, а я неглежа, разговариваю себѣ и ноль вниманія. Посри еще... Вотъ я какой былъ... Укротительница тигровъ въ Одесту пріѣзжала...

— Настоящихъ?—трепеталъ купецъ.

— А то деревянныхъ, что ли?.. Эхъ ты—невѣжество сѣрое. Брось-ка тебя имъ, и сапогъ бы не осталось. Такъ эта самая укротительница посвоему мнѣ говорила: Филатъ, поѣдемъ со мною въ разныя земли, я тебѣ по сту рублей буду за вечеръ платить... А потомъ на настоящее пошло,—я говоритъ безъ тебя существовать не могу. По колѣно влюблена! Онъ что,—кивалъ онъ на брата.—Мясо и ничего больше... Вотъ я былъ дѣйствительно артистъ. Меня въ дворянское собраніе возили кавалерственнымъ генераламъ показывать. Католицкій архирей одинъ коляску за мной посылалъ. Дамы, какія есть самыя высокоблагородныя, плюшевыя дамы, за версту отъ нихъ цедрой лимонной пахнетъ, въ чувствахъ мнѣ своихъ каялись,—вотъ я былъ какой.

Но этотъ припадокъ величія продолжался недолго. Достаточно было въ дверяхъ показаться мадамъ Словечкиной, и Филатъ угасалъ... Разъ Евграфъ напустилъ на себя храбрости и приступилъ къ женѣ:

— И откуда ты только на себя еройство напустила... Мы артисты, а ты кто...

— Я изъ-за тебя какого папеньку потеряла,—вдругъ накинулась она на него.—Ты кто: калуцкій мужикъ... А мы отродясь дьяконами были, у меня весь родъ духовный. У насъ и въ будни въ горницахъ ладаномъ пахло...

И Словечкинъ, какъ виноватый, опускалъ голову.

Онъ, впрочемъ, вѣчно производилъ комическое впечатлѣніе. Есть такія несчастныя натуры. Вотъ и этотъ—гигантъ вѣдь гигантомъ и сила слоновья, а безъ смѣху на него нельзя было смотрѣть; даже въ самыя трагическія минуты судьба устраивала ему какую-нибудь такую неожиданность, что «публика» только покатывалась отъ хохота. Я помню одинъ такой случай. Былъ вечеръ; стемнѣло и вызвѣздило. Народъ по-уѣздному кое-гдѣ запиралъ ставни и собирался спать. Я гулялъ по степи, прислушивался къ меланхолическому свисту вѣтра и къ шороху подсохшей за нѣсколько знойныхъ дней травы. Гдѣ-то далеко-далеко въ синемъ сумракѣ мигалъ огонекъ, и воображеніе невольно работало,—что тамъ, въ одинокой затерявшейся за курганомъ избушкѣ? Какъ вдругъ, оглянувшись на городъ, я невольно вздрогнулъ. Надъ темнымъ и сплошнымъ маревомъ его кровель вдругъ вскинулся и словно оборвался въ высотѣ красный языкъ пламени... Другой... третій. Не успѣлъ я сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ, какъ весь этотъ уголъ пылалъ ярко, раздуваемый вѣтромъ, перебрасывавшимъ съ одной соломенной крыши на другую хаосъ искръ, снопы огня... Я побѣжалъ, чтобы узнать, не около ли меня это. Издали вѣдь не различишь. Улицы были полны народа, зарево на всѣхъ кидало багровый отсвѣтъ, въ сквозныхъ амбразурахъ колокольни, на пламенномъ фонѣ пожара, глухо гудѣлъ черный колоколъ—били въ набатъ. Меня перегоняли люди съ ведрами, баграми и топорами. Одна какая-то баба съ перекошеннымъ лицомъ бѣжала съ пустымъ графиномъ въ рукахъ. Худой и длин-

ный старикъ на босу ногу поравнялся со мною и ни съ того ни съ сего укорялъ меня:

— Бога-то забыли, а Богъ-отъ онъ гдѣ!

И потомъ вдругъ упавшимъ голосомъ окончилъ:

— Всѣ помремъ, всѣ... Буди Его святая воля...

Оказалось, что огонь охватилъ одно изъ предмѣстій. Тутъ напрасно было и бороться. Полиція приказывала ломать только ближайшіе дома, но вокругъ нихъ стояли съ рѣшительнымъ видомъ люди и держали иконы въ рукахъ. Пламя ярко свѣтилось на ихъ окладахъ, выхватывало изъ сумрака всклоченные волосы и бороды лохмами и жадно шипѣло, пожирая кровлю за кровлей.. Какія-то яркія золотыя змѣи бѣжали въ самыхъ нѣдрахъ этого огня, какъ свѣчки горѣли стоймя балки, казалось, что изъ занявшихся домовъ злые духи высоко колеблютъ въ разгоряченномъ воздухѣ красныя хоругви торжествующаго пожара. Вверху, куда уносились цѣлые снопы искръ и гдѣ пропадали пламенные языки, багровые отсвѣты ложились на облака.

— Голубчики... милые... дитю-то... дитю-то и забыла!..

Металась баба около горѣвшей мазанки.

— Какое дитю?..—послышался около меня знакомый голосъ.

— Младенчика... Святители... Ісусе!..

Вдругъ рядомъ со мной появился Геркулесъ..

Его узнать нельзя было... Весь точно разгорѣлся, въ глазахъ отраженіе того же пламени, оно же краснымъ отсвѣтомъ играетъ и на его лысинѣ.

— Гдѣ дитя!—хрипло обернулся онъ къ женщинѣ.

— Вотъ тутотка... Святой Никола!..

Геркулесъ зорко воззрился въ горѣвшую избу, оглянулся на всѣхъ и, широко перекрестившись, кинулся въ полымя. Мы такъ и ахнули.

— Дура-баба! — рѣзко послышалось рядомъ. — Вотъ твое дитя. Сама же мнѣ его сунула!

И какой-то мѣщанинъ протягивалъ ей плачущаго ребенка.

Толпа замерла, глядя въ огонь...

— Выходи... Никого тамъ! — оралъ кто-то Геркулесу, точно въ свистѣ огня, въ грохотѣ падавшихъ балокъ и проваливающихся крышъ онъ могъ его услышать. Пропалъ... сгорѣлъ...

И всѣ кругомъ стали креститься.

Но Словечкинъ не пропалъ и не сгорѣлъ. На огненномъ фонѣ сгорѣвшей избы вдругъ обрисовался онъ весь, съ какимъ-то узломъ въ рукахъ. Другой рукой онъ заслонялъ лицо. Это было только мгновеніе, но я замѣтилъ, что волосы и борода его закурились. Онъ разомъ выскочилъ весь обгорѣлый, и швырнулъ узелъ бабѣ.

— Бери дитю... Живо — пишшитъ еще!

Баба недоумѣло затормошилась. Мы стали проворно раскидывать горѣвшія уже тряпки и подъ ними нашли двухъ... котятъ!.. Этихъ еще утромъ она выбросила за околицу, но вечеромъ старая кошка-мать принесла ихъ обратно и укрыла передъ самымъ пожаромъ въ тряпкахъ. Вѣдь, кажется, благороднѣйшій и великодушнѣйшій поступокъ совершилъ Геркулесъ, судя по намѣренію, на него чуть не молиться надо, а съ тѣхъ поръ иного ему имени не было, какъ «кошачій спаситель». И когда его ожоги поджили, грубая уѣздная масса безъ смѣха не могла видѣть бѣднаго Евграфа Словечкина.

Тѣмъ не менѣе онъ и послѣ ярмарки остался въ городѣ. Ему повезло. Съ человѣкомъ-змѣей и съ супругой онъ поселился въ какой-то хибаркѣ и только два раза въ день выходилъ на Большую Дворянскую улицу, гдѣ и давалъ подъ открытымъ небомъ представленія. Разъ было его сцапали архаровцы и повели въ часть, какъ онъ былъ—въ трико, но тамъ онъ показалъ всѣ свои «нумера» передъ полицмейстершей, та сама вынесла ему рюмку водки и кусокъ чернаго хлѣба. Положеніе Геркулеса послѣ этого было вполнѣ узаконено. «Самой полицмейстершей одобренъ!» съ гордостью говорилъ онъ. Но величіе его дошло до апогея, когда мѣстныя дамы задумали въ общественномъ саду устроить благотворительный вечеръ съ лотереей въ пользу дамскаго пріюта. Добродѣтельный аптекарь Винеръ-Шницель пожертвовалъ для этого корову, а полицмейстеръ позвалъ Евграфа Словечкина къ себѣ и приказалъ ему быть готовымъ...

— Ты въ саду будешь участвовать въ народныхъ увеселеніяхъ по пятнадцати копеекъ за входъ... Понялъ?

— Слушаю-съ...

— Ну, то-то! У тебя другого трико нѣтъ?

— Никакъ нѣтъ-съ...

— Ужъ очень плохо это. Постой-ка... Я спрошу у жены...

У той нашлась турецкая куртка, вышитая золотомъ, которую мужъ ей привезъ съ войны. Куртка полиняла, золото почернѣло, но для Геркулеса это было Сарданапаловымъ костюмомъ. Съ кое-какими позументами, урожденная дьконская дѣвица Фараонова отдѣлала ему этимъ трико и когда онъ

явился къ полицмейстеру и показался во всемъ своемъ великолѣпіи, тотъ даже глазамъ не повѣрилъ.

— Тебя теперь хоть въ циркъ.

— Я, ваше скородіе, въ циркахъ бывалъ...

— Ну, пошелъ! Да смотри у меня! Старайся!..

На афишахъ его и корову объявили громадными буквами. Евграфъ окончательно возгордился. Даже Филата это на минуту задѣло. Онъ бросился къ себѣ, вытащилъ какую-то старую афишу, смѣрилъ буквы и успокоился. О «человѣкѣ-змѣѣ» было на цѣлый вершокъ больше. Господа купцы начали загодя потѣшаться.

— Тебя съ коровой въ лотерею разыгрываютъ... Коли мнѣ достанешься, я, такъ и знай, воду на тебѣ возить стану.

Но Геркулесъ только счастливо улыбался. Афиша удовлетворила вполнѣ его артистическое самолюбіе. Но какъ горе, такъ и удачи никогда не приходятъ одни. За участіе въ благотворительномъ вечерѣ онъ получилъ три рубля, на которые его жена взяла билеты и выиграла корову. Домой они шли съ музыкой. Впереди два еврея скрипача, потомъ Геркулесъ въ трико и за нимъ корова, имѣя по правую сторону человѣка-змѣю, а по лѣвую—радостно настроенную мадамъ Словечкину. Позади валила толпа зѣвакъ и господа купцы, убѣждавшіе жену Геркулеса:

— Ужъ вы сегодня дозвольте ему... Для такого-то случая да не выпить. Самъ Богъ ему, съ дозволенія начальства, за кротость его послалъ.. Ужли жъ мы-то это такъ оставимъ...

Она было притворилась, что не слышитъ.

— Это не порядокъ,—негодовали купцы.—Намъ, да не почтить его теперь... Вы не тревожьте себя—мы его въ полной сохранности доставимъ... Безъ ломки. Какъ почтовый пакетъ.

Она смягчилась, наконецъ, и отпустила... Къ утру Геркулесъ вернулся съ разбитымъ носомъ и съ выбритой наполовину головой!

Но какъ всѣ великіе народы, достигшіе высшаго благополучія и славы, падаютъ—такъ и Геркулесъ недолго могъ удержаться на высотѣ своего положенія. Первымъ ударомъ для него была болѣзнь и послѣдовавшая вслѣдъ за тѣмъ смерть коровы. Онъ было бросился къ ветеринару, когда буренка стала «жаловаться».

— И смотрѣть не хочу... Я ее знаю... Я передъ лотереей Шницелю сказалъ, что она больше двухъ недѣль не проживетъ... Ты думаешь иначе сталъ бы онъ ее жертвовать?..

Бѣдная Словечкина плакала надъ нею какъ надъ человѣкомъ.

Вслѣдъ за тѣмъ началась скверная осень и сама жена Геркулеса простудилась и слегла.

Я какъ-то гулялъ по Дворянской улицѣ—смотрю собрались зѣваки. Посреди Словечкинъ... Дѣлалъ, дѣлалъ свои нумера и вдругъ бросилъ чугунныя ядра на землю и заплакалъ...

— Чего ты?—спрашиваю.

— Супруга... Больна.

— Ну, что жъ. Мало ли! Всѣ болѣютъ... Выздоровѣетъ.

Онъ уныло покачалъ головой.

— Дохтуръ былъ!

— Ну?

— Говоритъ — давай, что спроситъ... Потому теперь все равно.

Я зашелъ къ нему.

На разостланномъ на печи старомъ тулупѣ съ вылѣзшей шерстью лежала вся свернувшаяся въ комочекъ бѣдная женщина. Хрипло и тяжело дышала, точно въ груди у нея скрипѣли ржавыя петли. На осунувшемся лицѣ испуганно глядѣли безцвѣтные глаза...

— Помираю!—едва-едва проговорила она.

— Ну, вотъ! Кто это такъ помираетъ!..

— Помираю... Какъ снѣгъ выпадетъ, такъ и я...

Она не кончила и тяжело и нудно стала кашлять.

На Геркулесѣ лица не было. Человѣка-змѣю всего дергало. Видимое дѣло и онъ едва удерживался, чтобы не разрыдаться.

— Лѣкарство принимаетъ?—спросилъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Какое лѣкарство!.. Докторъ сказалъ: вамъ, бѣднымъ людямъ, нечего по пустякамъ деньги тратить. Евграфъ, у меня въ чулкѣ пять серебра на похороны... Божью Матерь со мною въ гробъ... Да не слушай отца Аѳанасія—креста съ меня не снимай... Пущай такъ и зароютъ... Ахъ... Пропадете вы безъ меня... Споятъ тебя купцы... знаю я ихъ.

Потомъ повернула голову къ стѣнѣ и часто-часто задышала.

Черезъ недѣлю я вышелъ на улицу. Съ вечера выпалъ снѣгъ... Смотрю, Словечкинъ и человѣкъ-змѣя съ открытыми головами несутъ простой деревянный гробъ. Я перекрестился.

— Утромъ... тѣлохранительница моя...—И не кончилъ, заплакалъ... — Послѣзавтра хоронить... Помирая, все господъ купцовъ поминала... Оставьте, говоритъ, господа купцы, мужа моего въ упокоѣ... Потому онъ хлѣба рѣшиться можетъ съ вашимъ боемъ... А потомъ вдругъ: лучше бы и тебѣ со мной вмѣстѣ... Что ты одинъ дѣлать станешь... Ременку трехвостную собиралась укупить!.. Давно ли, кажется...

И на этомъ воспоминаніи онъ горько разрыдался, такъ что гробъ выпустилъ изъ рукъ. Человѣкъ-змѣя поставилъ себѣ на голову его да такъ и понесъ. Геркулесъ понурясь слѣдовалъ за нимъ— и видимое дѣло ноги отказывались служить ему. Онъ какъ тростинка шатался всѣмъ своимъ громаднымъ тѣломъ...

Года черезъ два я опять попалъ въ этотъ уѣздный городъ.

Была зима: снѣгъ лежалъ вездѣ пухлый и однообразный... Безлистные тополи уныло чернѣли на сѣромъ фонѣ затянутаго тучами неба. Степь бѣлая сливалась вдали въ одну марь... Тишина стояла кругомъ, точно все умерло и не дома вытянулись длинными улицами подъ занесенными крышами, а могилы громаднаго кладбища. Глухое отчаяніе было разлито во всемъ, что меня окружало. Вечеромъ я вышелъ и пошелъ къ собору. Въ окнахъ его свѣтились огоньки лампадъ и тускло мерещились серебряныя ризы иконъ. На весь этотъ омертвѣвшій просторъ съ городскихъ колоколенъ разстилался печальный звонъ... Вдругъ меня точно толкнуло что-то... На безлюдной улицѣ двѣ какія-то фигуры жалкія, чахлыя. Съ людьми, пожа-

луй, и сходства нѣтъ, негдѣ, кажется, въ этихъ исхудалыхъ и слабыхъ костякахъ и жизни затеплиться. Попуренные. Ноги не держатъ... Руки опущены... Опорки, лохмотья... Дрожмя-дрожатъ несчастные.

— Милостивый государь!..

Я всмотрѣлся пристальнѣе. Что-то знакомое мелькнуло въ памяти.

— Господамъ-артистамъ... на пропитаніе...

— Это вы «человѣкъ-змѣя», Филатъ?

— Точно-съ,— обрадовался онъ.— Точно-съ... А вы насъ развѣ знаете? Точно-съ, что на афишкахъ и вотъ-съ какими буквами...

— А гдѣ вашъ братъ, Геркулесъ?..

— Это я-съ!..

Боже мой! неужели это онъ? Куда же дѣлись его могучіе мускулы, чудовищная сила? Кто бы въ этомъ чахломъ скелетѣ угадалъ того атлета, котораго я хорошо помнилъ... Я былъ такъ пораженъ, что и онъ это замѣтилъ и сталъ безпорядочно лепетать что-то совсѣмъ уже нелѣпое...

— Послѣ той самой... коровы съ дозволенія начальства... Какъ тѣлохранительница моя померши... Такъ точно что господа купцы...

Старые вѣнки.

ПОВѢСТЬ.

I.

На службѣ.

Къ вечеру все точно расплакалось. Плакало небо, изъ темныхъ, низко нависшихъ тучъ роняя мелкія и частыя слезы, казавшіяся туманомъ надъ заплаканными кровлями домовъ, надъ влажными камнями мостовой; плакали мрачныя стѣны, слезились стекла оконъ и фонарей, въ которыхъ чуть мигали, будто не рѣшаясь разгорѣться, тусклые огоньки газа. Траурнымъ флеромъ затягивались вдали печальныя улицы; площади, словно пряча что-то, уходили въ мракъ. Стремглавъ неслись кареты, точно онѣ хотѣли уйти изъ-подъ этого неба, отъ этихъ холодныхъ слезъ... Камни мостовой, вздрагивавшія стекла домовъ, колеса экипажей—все это болѣзненно скрипѣло, дребезжало, жаловалось кому-то... Колокольни соборовъ тянулись выше и выше, будто тамъ, за этимъ мракомъ, было горячее солнце, кончалось царство дождливой ночи съ ея тоскою и безсонницей, съ ея печальными видѣніями и призраками, рождавшимися во тьмѣ и уходившими въ нее же.

Такими именно призраками казались двое пѣшеходовъ, выдвигавшихся изъ мрака, когда тусклый глазъ фонаря пугливо раскрывался, и исчезавшихъ, когда газъ старался совсѣмъ смежить вѣки, оставляя въ темнотѣ старый пустынный уголъ. Два этихъ призрака то сливались въ одно темное пятно, то раздѣлялись, когда деревянная панель переулка суживалась... Переулокъ выбѣжалъ на улицу, улица расширилась въ площадь... За площадью черпѣла рѣка подъ тяжелыми арками сѣраго гранитнаго моста. Свинцовыя волны медленно катились подъ эти арки. Двое призраковъ взобрались на мостъ. Вѣтеръ, какъ будто они надоѣли ему, засвистѣлъ вокругъ, попробовалъ было сбить ихъ съ пути, унести куда-то, но пѣшеходы такъ сцѣпились рука за руку, что онъ съ безсильнымъ стономъ сталъ только забираться къ нимъ подъ ветхія тряпки, въ которыя тѣ были закутаны. Тряпокъ было много, да толку отъ этого оказывалось очень мало. Призраки, несмотря на свое, несомнѣнно, фантастическое происхожденіе, дрожали отъ стужи, порою оборачивались спиною къ вѣтру, но тотъ, совсѣмъ раззадорившись, забѣгалъ впередъ и оттуда опять пронималъ насквозь эти старыя, хрипѣвшія при каждомъ дыханіи груди. Только когда мостъ, наконецъ, окончился и наши путники вошли на широкую, уже ярче освѣщенную улицу, можно было разсмотрѣть сквозь лохмотья посинѣвшія лица... Старикъ и старуха. Они, несомнѣнно, были свои люди съ пронзительнымъ вѣтромъ, съ этою влажною, холодною ночью, съ навзрыдъ плакавшимъ небомъ... По крайней мѣрѣ, какъ только они зашли за уголъ, гдѣ было потеплѣе, гдѣ не

такъ трепало ихъ старыя тряпки, какъ они сейчасъ же повеселѣли... Сквозь однообразный шумъ дождя послышался даже какъ-то разбитый, дряблый смѣхъ.

— Что, Сашенька?.. Какъ вѣтеръ-то, того... А? Не любишь?

— Да... Сегодня онъ точно не пускаетъ насъ...

— Не хочетъ, чтобы мы съ тобой на службу шли. Ступайте, дескать, старички, домой... Вѣтеръ-отъ домой насъ, Сашенька, гонитъ. Ты бы, милочка, закуталась теплѣй... Шейку-то, шейку не застуди.

«Милочкѣ», и Сашенькѣ тожъ, было не менѣе шестидесяти лѣтъ. Маленькое, сморщенное въ кулачокъ лицо ея, съ подслѣповатыми глазами, сплошь почти прятавшимися въ щелки, съ сухимъ впавшимъ ртомъ, вокругъ котораго по щекамъ шли безчисленныя морщины, съ выдававшимися зато далеко впередъ подбородкомъ и микроскопическимъ, загибавшимся точно клювъ носикомъ, производило очень странное впечатлѣніе. Оно казалось бы совсѣмъ мертвымъ, если бы по немъ порою не пробѣгала какая-то добрая, радостная, счастливая, совсѣмъ дѣтская улыбка! Счастливая и радостная, несмотря на слезы, застывавшія въ глазахъ, и на лохмотья, безобразно трепавшіяся на ветхомъ, какъ и они, обезсиленномъ тѣлѣ. Улыбка эта казалась отсвѣтомъ солнца на лицѣ трупа. Лежитъ оно неподвижное, незрячее, какъ вдругъ скользнетъ изъ-подъ всколыхнувшейся портьеры лучъ по этимъ застывшимъ чертамъ и загорятся и затеплятся онѣ точно на одно мгновеніе пробудившеюся жизнію. Голова съ мелкими чертами тряслась на сухой и

тонепькой шеѣ, которую напрасно старался закутать старый и дырявый платокъ... Шея поминутно освобождалась изъ-подъ него, заставляя спѣшно работать сухую и костлявую руку, еще тѣснѣе затягивавшую узелъ платка. На старухѣ были остатки ветхаго салопа. Мѣхъ воротника давно выцвѣлъ, потомъ оплѣшивѣлъ отъ старости, посѣкся и совсѣмъ вылѣзъ. На голой кожѣ его торчали только жалкіе клочки какого-то безцвѣтнаго пуха. Нельзя было даже сказать, какому извѣстному въ зоологіи звѣрю принадлежитъ эта шкура. Салопъ висѣлъ весь лохмотьями. Нѣсколько заплатъ, совсѣмъ другой матеріи, едва-едва удерживали ихъ, не то расползлись бы прямо внизъ въ такую же грязную и темную, какъ они, слякоть, въ которой тонули медленно шлепавшія и передвигавшія ноги въ дырявыхъ, старыхъ башмакахъ. Салопъ черезъ талію былъ перевязанъ тоже старымъ шарфомъ.

Худой и длинный старикъ былъ еще старше и салопа и старухи. Ему лѣтъ семьдесятъ. Онъ качался на тонкихъ ногахъ, словно кузнечикъ, колѣнами потирая ихъ одну о другую, когда холодъ заставлялъ себя чувствовать сильнѣе; подскакивалъ даже, ежился, точно коротенькое пальто его, постоянно тянувшееся кверху, могло сдѣлаться оттого длиннѣе! Пальто было интереснѣе его самого. Это была лѣтопись цѣлой жизни, — папирусъ, ожидавшій своего Шамполіона. Время производило на немъ прорѣхи, трудъ и изобрѣтательность покрывали его заплатами, между которыми встрѣчались даже кожаныя. Какъ подъ землею и новыми постройками трудно узнать остовъ стараго храма, такъ и подъ ними нельзя было рѣшить, что это такое?

Изъ чего оно было сдѣлано первоначально. Зато воротникъ былъ несомнѣнно новаго происхожденія, хотя далеко не аристократическаго. Очевидно, пальто это было украшено мѣхомъ какой-нибудь довѣрчивой дворняги. Мѣхъ какъ всталъ отъ ужаса или отъ водобоязни, такъ и теперь торчалъ дыбомъ, напрасно стараясь дотянуться до худого и длиннаго лица старика. На немъ была когда-то высокая, но съ теченіемъ времени осѣвшая шляпа.

— Скорѣе, Сашенька, скорѣе, — нетерпѣливо понукалъ онъ старуху. — На службу опоздаемъ. Ишь, вѣдь семь уже часовъ съ четвертью... Время-то, время какъ идетъ быстро.

— Потому быстро, что мы ходимъ тихо... Совсѣмъ мы съ тобою старыя крысы, Аполлончикъ.

— Ну, ты еще хоть-куда... А помнишь прежде-то... Соболя свои надѣнешь, на парѣ!.. Ухъ, держись только!

— Ахъ, было, было!.. Чего не было только, — вздохнула старуха.

— Вихрь!.. Пара-то твоя Султанъ и Вѣтерокъ... Вороные... Теперь такихъ нѣтъ! — съ полнымъ убѣжденіемъ заключилъ старикъ.

— Разумѣется, нѣтъ... И какіе мы были, теперь тоже такихъ нѣтъ... И ты тоже, тоже, помню я. Въ шинели своей, совсѣмъ графъ какой-нибудь.

— Да, и я былъ не то чтобъ изъ послѣднихъ!.. — довольнымъ смѣхомъ разразился Аполлончикъ.

— Что говорить, дамочки за тобой вотъ какъ бѣгали.

— А за тобой, Сашечка, что мужчинъ этихъ было... Комаровъ въ лѣтній день меньше...

— Было, было... Все ушло, а было, точно.

— Жили мы съ тобой зато!.. Теперь такъ не живутъ. Орлы!.. Вотъ какъ! А только времени мало... Поторопись-ка, Сашенька... На службу опоздаемъ, дай ручку.

И опять, подхвативъ ее, старикъ зашагалъ быстро-быстро... На какую службу были способны два этихъ старыхъ остова? Они то забирали вправо, то влѣво,—очевидно, помимо ихъ воли, ноги шли, куда имъ угодно, а за ними уже двигались ихъ хозяева. На углахъ улицъ, гдѣ словно притаившійся школьникъ, съ шумомъ и крикомъ бросался на нихъ вѣтеръ, старики останавливались, чтобы немного передышаться, и опять двигались впередъ...

— Ну, слава Богу!.. И на сей разъ не опоздали!—торжественно показалъ Аполлончикъ на громадную площадь съ двумя театрами, уходившими въ ночной мракъ, несмотря на яркое кольцо фонарей вокругъ.

— Исправно мы съ тобой пришли, исправно. Коли бъ Иванъ Ѳедоровичъ былъ живъ, похвалилъ бы.

— А гдѣ нынче Иванъ Ѳедорычъ-то?..

— Должно-быть, померъ!.. Помнишь, на репетиціяхъ какой строгій былъ? Штрафъ, за все штрафъ, а дома—первый хлѣбосолъ.

— Мы одни только и остались съ тобой... Мы одни...

— Скоро, Сашурочка, отдохнемъ. Занавѣсъ опустится, и конецъ... баиньки тогда!..

Дойдя до площади, старики пошли храбро впередъ черезъ цѣлое море грязи, залившей все—и камни мостовой, и плиты тротуаровъ, и деревянную настилку панелей... Они разомъ преобрази-

лись теперь, какъ только увидѣли зданіе театра. Не отводили взгляда. Откуда взялась опять бодрость и сила!.. Даже глаза у старухи вышли изъ щелокъ и разгорѣлись.

Было самое время. Жандармы уже орали на извозчиковъ, полицейскіе «честью просили», короче — публика прибывала, и все обходилось въ обычномъ порядкѣ; длинная линія каретъ тянулась передъ ярко освѣщенными подъѣздами. Одна за другою подтягивались. Хрипло осаживали лошадей кучера, скрипя отворялись дверцы, и на панель изъ самаго нутра экипажей, точно изъ чрева, выбрасывало закутанныхъ въ дорогіе мѣха барынь и ихъ спутниковъ. Не успѣвала карета разрѣшиться отъ бремени, какъ на кучера наскакиваютъ справа жандармы, слѣва—городовые.

— Ступай, ступай... Тебѣ говорятъ... Ступай!

— Незадерррживай!

Кучеръ, потерявъ голову, стремглавъ погонялъ коней впередъ, и новый занималъ его мѣсто.

Къ этой обычной суетѣ съ какимъ-то дикимъ наслажденіемъ приглядывались наши старики, крѣпко пожимая руки другъ другу.

— Не опоздали... На службу—въ самое!..—бормотали про себя они, забывая уже и кутаться въ холодныя лохмотья. Не опоздали на службу, а между тѣмъ торчали на одномъ и томъ же мѣстѣ, не рѣшаясь его оставить.

— Посмотри, Сашурочка, — пріѣхалъ! —подтолкнулъ свою спутницу старикъ, показывая на карету, изъ которой лакей бережно, на рукахъ, вынималъ какую-то разваливающуюся рухлядь.

— Онъ, онъ самый?

— Графчикъ... Ишь... И букетъ съ нимъ, все попрежнему...

— И красивый еще... Точно на него и времени нѣтъ,—заглядывалась старуха.

Лакей поставилъ рухлядь на ноги, захлопоталъ вокругъ, стараясь, чтобы она вся не разсыпалась. Отогнулъ воротникъ шубы и опять подхватилъ подъ руку.

Старуха на минуту замѣтила старое-старое набѣленное лицо «графчика», безсильно моргавшаго, когда его вели въ широко распахнувшійся передъ нимъ подъѣздъ.

— Орелъ!.. Изъ старыхъ изъ нашихъ, Аполлончикъ! Теперь такихъ нѣтъ!

— Нѣтъ, нѣтъ... Гдѣ теперешнимъ!.. А вѣдь ему восемьдесятъ лѣтъ, а?

— Есть, есть... У него на сороковомъ году зубы вставлены были!...

— Паричокъ новый замѣтилъ я изъ-подъ шляпы. Прежде онъ русый носилъ, а теперь черный.

— У него, Аполлончикъ, по днямъ. По понедѣльникамъ черный, по средамъ русый, а въ субботу, когда онъ Богу молится, сѣдой надѣваетъ.

— Помнишь, какъ онъ, графчикъ-то, передъ тобой на колѣшкахъ стоялъ и плакалъ... Брильянты тебѣ возилъ... цвѣты.

— Однѣхъ денегъ на меня что онъ извелъ!

— Молодецъ ты была!.. Я стою у тебя за ширмой и слышу, какъ графчикъ-то передъ тобой пѣтушкомъ кочетится... А ты ему все такъ небрежа... Точно онъ тебѣ и ненадобенъ вовсе...

— Да... было время.

А между тѣмъ карета графчика давно уже отъѣхала, забрызгавъ нашихъ зрителей липкою и гу-

стою грязью... Новые экипажи подъѣзжали. Толпы промокшихъ на дождѣ пѣшеходовъ шли сюда же, толкая то справа, то слѣва стариковъ, какъ будто бы и не чувствовавшихъ этого...

— А хорошо бы, Сашурочка, намъ въ театръ теперь.

— Разикъ бы только.

— Послушать, какъ они нынче поютъ... Куда имъ съ тобою! Помнишь, бывало: «Пойми, Немвродъ, сколь плѣнена тобой блистательна Заира!» А я тебѣ бывало: «Вотще, божественна дѣвица! Ты зри—сей хладъ въ душѣ моей!» Съ театромъ-то, съ театромъ что дѣлалось! Занавѣсъ-то спустятъ—всѣ на сцену лѣзутъ. Военные къ тебѣ, дамочки ко мнѣ въ уборную... Тогда пѣли... Теперь развѣ голоса?

— Теперь голосовъ нѣтъ.

— Бывало, я въ одной и той же оперѣ и баритона, и тенора пѣвалъ, а прикажутъ—и баса замѣню. Нутъ-ко нынче!

— А что, Аполлончикъ, если бы къ графчику написать?

— Ну?

— Чтобы онъ намъ по старой памяти, за прежнюю службу-то, ложу прислалъ. Пришлетъ вѣдь?

— Пришлетъ, какъ не прислать... Ему что, онъ пришлетъ...

— Мы съ тобой, какъ настоящіе господа, въ ложу-то и сядемъ.

— Нельзя, Сашурочка. Потому подумай, какія у насъ одѣянія-то... Такъ вѣдь не сядешь. Не пустятъ.

— Да...—закачала головой Сашурочка.—Теперь и въ ложу не пустятъ, а тогда здѣсь царицей была! Вотъ!

— Правду ты сказала, старыя крысы мы... Смотри, смотри... А вѣдь это онъ, помнишь, еще силой къ тебѣ вломился, меня въ окно выбросилъ!.. Какой рыцарь былъ—даже невѣроятно.

— Онъ и есть.

И старуха рванулась впередъ, стараясь получше разсмотрѣть сгорбленнаго и хилаго старика, едва-едва сошедшаго съ дрожекъ.

— Давно не видать было... Ужъ у него, у бѣднаго, и лошадокъ-то своихъ нѣтъ. На извозчикахъ ѣздитъ.

Сгорбленный «рыцарь», запахнувшись въ ветхую шубенку, скользнулъ въ подъѣздъ...

— А какой амурчикъ былъ!—умилялась старуха.

И долго еще тутъ, посреди грязи, на дождѣ и на вѣтру, стояли старики.

— Чего они это?—подозрительно обернулся къ нимъ городовой.

— Не трожь,—остановилъ его другой.—Они тутъ каждый разъ. Тронуты... до разъѣзда торчатъ.

— Милостыни просятъ?

— Ни-ни... Тоже господа артисты были! Ну, стоятъ. Ходють, смотрють. Кажнаго на свое тянетъ. Разъ ихъ забрали, потому точно не порядокъ. Ну, приставъ приказалъ не препятствовать... Они смирные.

«Господа артисты» и въ самомъ дѣлѣ смирно вели себя, только теперь они перебрались на другую сторону театра, къ подъѣзду, въ которомъ были слышны отзвучія музыки, когда оркестръ

бралъ forte, и рукоплескаціи, когда оканчивался актъ. Старики неподвижно замирали, и, когда аплодисменты оканчивались, разомъ оживлялись.

— Помнишь, Сащенька, тебя также бывало вызывали?

— Разъ по семнадцати случалось! Ногъ подъ собой не слышишь—выходишь, книксу имъ дѣлаешь.

— Ну, и рукамъ тоже трудно бывало.

— Еще бы: сколько букетовъ подадутъ... Съ ними на сцену-то вылетаешь.

— Папильономъ!

— Теперь такъ не кланяются. А тогда разъ-два-три, разъ-два-три—прыгъ на одну ножку, другую назадъ... книксъ... А они—браво, браво, спасибо!.. И опять имъ книксъ...

— Тогда и въ поклонѣ пантомимъ требовался.

— Еще бы. Нынче, вышелъ какъ дома, руку къ сердцу—и кивай головой... А тогда!

— Тогда кланялись съ грасами.

— А если много вызываютъ бывало—и грасовъ больше... Опять, опять—слышишь?

— Кого это?

— Должно-быть, изъ старыхъ кто-нибудь поетъ.

— Нѣтъ... Старыхъ такъ не встрѣчаютъ. У старыхъ-то пѣсенки спѣты!.. Теперь новые въ ходу, молодые.

И оба опять прислушивались, стараясь не проронить ни одного звука, несшагося оттуда, изъ-за этихъ дверей, когда-то широко раскрывавшихся передъ ними. Было что-то глубоко печальное въ этомъ. Вся безполезно прошедшая и ничего не оставившая по себѣ жизнь сказывалась. Люди пережили самихъ себя.

Король въ изгнаніи, временщикъ въ ссылкѣ—не такъ жалки, какъ жалокъ артистъ въ старости. У этого ничего въ настоящемъ. Тѣхъ не забыли, тѣхъ хоть проклинаютъ, у тѣхъ есть еще сторонники. Для нихъ будущее даже у самой могилы улыбается надеждою на возвратъ прошлаго. Цари сцены безсильны, когда ихъ эта самая сцена выброситъ вонъ, какъ никуда негодную ветошь. Сегодня рабски склоняется толпа, сегодня она тебѣ, какъ побѣдителю, шлетъ радостные крики, бросаетъ цвѣты; сегодня передъ тобою стоятъ на колѣняхъ всемогущіе люди—а завтра они забрызжутъ тебя грязью изъ-подъ колесъ своего экипажа, и если ты имъ скажешь о себѣ, они съ трудомъ вспомнятъ твое имя!

Цѣлый вечеръ и часть ночи простояли такъ старики, топчась на мѣстѣ, ежась отъ холода, пряча посинѣвшія руки подъ лохмотья, вовсе не защищавшія ихъ отъ стужи. Въ антрактахъ выбѣгала театральная челядь, бросала имъ два-три насмѣшливыя прозвища,—они не уходили отсюда.

— Что? Аль никакому еще старьевщику не приглянулись, не купилъ васъ?..—на ходу привѣтствовалъ ихъ одинъ.

— Скоро ль на живодерню, господа артисты?—торопился куда-то другой.

— А помнишь, бывало, какъ они всѣ передъ нами рабствовали?—грустно обернулся старикъ къ своей подругѣ.

— Да... И не мало же мы передарили имъ тоже? Теперь уже другіе, только должны бы чувствовать, кажется.

— Люди, что говорить!..

Наконецъ спектакль кончился. Надо было видѣть, съ какимъ напряженнымъ любопытствомъ старики встрѣчали и провожали музыкантовъ, хористовъ... Вотъ, наконецъ, показались пѣвцы. Замелькали мимо кареты, увозившія примадоннъ.

— И я когда-то такъ,—вздыхала старуха,—и я когда-то такъ...

— А ужъ больше не будетъ... Больше ужъ и ничего нѣтъ, и ничего не будетъ...

— Кто это? Это ***, должно-быть?..

— Она самая!

— Я лучше была, Аполлончикъ, а?

— Извѣстно лучше. Что эта!.. Эту только что публика любитъ, а почему публика любитъ, потому что тебя не слышала. Ты бы и теперь...

— Ну, ужъ.

— Правда, голоса того нѣтъ... Но все-таки, она—хамка, а ты—геній.

— Геній!..—самодовольно улыбалась старушка.

— Помнишь: «Скажи, почто, о дѣвственна пастушка, внимаешь ты напѣву соловья?..»

Старческій голосъ, какъ скрипъ ветхой и ржавой дверной петли, задрожалъ въ сыромъ воздухѣ. Но, очевидно, она услышала въ немъ нѣчто другое, потому что и сама вдругъ встрепенулась, отошла отъ него назадъ шага на три, подняла правую руку вверхъ, костлявую и худую, а лѣвой указывая впередъ, такимъ же вздрагивающимъ и прерывающимся голосомъ отвѣтила ему: «Зане Нарсисъ вечернею порою»... Но не докончила, оборвалась и закашлялась.

Послѣдній ламповщикъ и пожарные ушли уже изъ театра. Когда около погасили совсѣмъ

газовые рожки, старики, вздыхая, тронулись съ мѣста.

И все также другъ съ другомъ. Онъ велъ ее подъ руку съ такою же гордостью и любовью, какъ если бы она была первою красавицею въ мірѣ и самою знаменитой артисткою, всемірная слава которой бросала и на него свои лучи. Она чуть не клала сѣдую, совсѣмъ трясущуюся голову на его плечо, точно онъ еще былъ любимцемъ публики, пѣвцомъ, теноръ котораго восхищалъ всѣхъ. Будто рядомъ съ нею шелъ молодой и стройный юноша, а не жалкій, разбитый старикъ, не знавшій, куда дѣвать отъ сырости и холода длинныя, тонкія и безъ того насквозь простуженныя ноги...

Служба кончилась... Добровольная, тяжелая, оживляемая воспоминаніями, созданная привычкою... Они тутъ, въ виду громаднаго каменнаго театра, точно вторично переживали прошлое... И какимъ радостнымъ, какимъ свѣтлымъ оно являлось имъ теперь изъ своего «далека»... Подъ дождемъ, подъ плачущимъ небомъ, среди мрака, отовсюду окутавшаго ихъ такъ, что на площади едва ли самый внимательный взглядъ различилъ бы это смутное, колеблющееся темное пятно...

II.

Старые вѣнки.

Сколько ихъ было здѣсь старыхъ вѣнковъ... Старыхъ до такой степени, что отъ нѣкоторыхъ не осталось даже пучковъ сухихъ лавровъ. Они давно легли на грязный полъ этого чердака темною пылью, подымавшеюся вверхъ при каждомъ движеніи шар-

кавшихъ, безсильныхъ ногъ. Отъ другихъ безобразно чернѣли проволочные остовы... Тѣмъ не менѣе всѣ стѣны были покрыты ими. Вѣнки, сухіе, какъ крылья давно выѣденнаго муравьями жука, растрепанные, какъ брошенные въ уголъ дворницкой вѣники, помятые, какъ долго лежавшія въ грязи тряпки, висѣли всюду въ углахъ, надъ дверями, съ потолка... Иные казались комьями слежавшейся паутины, и взглядъ невольно искалъ въ нихъ затаившагося громаднаго и чернаго паука. На другихъ лежала такимъ густымъ слоемъ пыль, что нельзя было разобрать старыхъ лавровъ. Стоило отвориться двери, свѣжему воздуху ворваться въ комнату—какъ въ этихъ вѣнкахъ подымался сухой и злобный шорохъ, точно каждый высохшій листъ, раздраженно встрепенувшись, колыхался на высохшемъ стеблѣ... Шорохъ усиливался... Лавры осыпались въ кучки пыли...

— Аполлончикъ... Аполлончикъ!—слышалось изъ угла—оттуда, гдѣ на старой кровати, тоже раздраженно скрипѣвшей при малѣйшемъ движеніи, лежала точно куча ветхихъ лохмотьевъ.—Аполлончикъ!..

— Что, Сашенька? — отозвался сухой, точно шелестъ лавровъ въ старыхъ вѣнкахъ, голосъ Аполлончика.

— Вѣнки-то... Вѣнки...

И Аполлончикъ, насколько позволяли ему безсильныя больныя ноги, бѣжалъ къ дверямъ, запиралъ ихъ, задвигалъ ихъ стуломъ, потомъ торопился къ вѣнкамъ и охалъ, глядя на разрушеніе, причиненное притокомъ свѣжаго воздуха.

— «Норма» осыпалась, Сашенька... Да и отъ «Нины и Семирамиды» мало ужъ листа... Ишь вонъ и «Орфеевскій»...—два пучка упало...

— Какого «Орфея»?..

— Стараго Глюковскаго «Орфея», Сашенька.

— Ну, а «Ифигенія» цѣла?

— «Ифигенія» цѣла, Сашенька.

— Помнишь, какъ мнѣ его тогда подали. Самъ императоръ аплодировалъ изъ ложи... Студенты подносили... И публика плакала!.. Теперь ужъ такъ не плачутъ въ театрѣ, какъ плакали тогда. Тогда, Аполлончикъ, жили на сценѣ, а теперь только играютъ... Помнишь нашъ дуэтъ: «Сколь славенъ ты, о Нинъ, скажи, зачѣмъ къ пастушкѣ склонилъ ты гордый взоръ?..» А?.. Помнишь, какъ ты тогда запѣлъ: «О вѣрь, моя богиня?..» Ну, а «Ромео» цѣлъ?

— Беллиніевскій?

— Нѣтъ, Ваккаи...

— Ваккаи цѣлъ... А отъ Беллиніевскаго «Ромео» только и остались, что проволока да лента.

И Аполлончикъ съ любовью оправилъ старую, совсѣмъ пожелтѣвшую и узенькую ленточку, висѣвшую со скелета давно умершаго облетѣвшаго вѣнка.

Такихъ лентъ много было здѣсь. Однѣ давно поблекли и выцвѣли, другихъ нельзя было разобрать подъ пылью, третьи трепались лохмотьями, словно старыя знамена. Всѣ эти трофеи прошлаго въ крошечной мансардѣ производили тяжелое впечатлѣніе. Точно могила давнымъ-давно позабытаго героя, надъ которой еще торчатъ уцѣлѣвшія и пощаженныя временемъ стяги, съ каждымъ моментомъ умирающіе надъ прахомъ того,

который носилъ ихъ когда-то въ бой?.. И если бы они могли говорить—сколько бы разсказали эти старыя хоругви! Какіе восторженные крики побѣды и торжества раздавались вокругъ нихъ и подъ ними, когда они величаво, среди сомкнувшихся дружинъ, подымали въ голубыя небеса свои гордые золотые орлы—прямо подъ гордые лучи ослѣпительнаго солнца! Какой ожесточенный бой кипѣлъ кругомъ и какими широкораспущенными крыльями казались ихъ полотнища надъ бѣшеною свалкой, гдѣ рѣками лилась кровь, гдѣ въ свирѣпыхъ вызовахъ тонули стоны безсильно распростертыхъ во прахъ жертвъ! Старыя знамена! Къ нимъ умирающіе въ послѣдній моментъ направляли свои уже полупогаснувшіе взгляды, ихъ отыскивали вдали новыя, жадно стремившіяся къ бою массы... А теперь на безобразныхъ палкахъ болтаются ободранныя тряпки, на которыя даже мимо пробѣгающая крыса смотритъ съ пренебреженіемъ... Такими же знаменами были для нашихъ стариковъ ветхіе вѣнки. Они напоминали о былыхъ торжествахъ и побѣдахъ. Глядя на нихъ, безсильная старуха разомъ переносилась въ далекое-далекое прошлое. Широко раздвигались стѣны чердака... Раздвигались, раздвигались и совсѣмъ исчезали... Отовсюду вырастали блистательно освѣщенныя въ позолотѣ и бархатѣ ложи, изъ нихъ направлены на нее въ эту минуту тысячи страстныхъ и печальныхъ, увлеченныхъ и просто любопытныхъ взглядовъ... Сверху медленно опускается люстра... Воздухъ кругомъ, нагрѣтый безчисленными огоньками, точно вздрагиваетъ отъ тепла и свѣта. Внизу въ партерѣ—цѣлое море головъ, и всѣ онѣ обра-

щены къ ней, всѣ ждутъ первыхъ звуковъ любимой аріи. Вотъ уже слышится знойный, томящій и ласкающій напѣвъ скрипокъ, печальная, тихая, какъ ночь, и нѣжная, какъ струйка въ мраморномъ бассейнѣ, жалоба флейты... Весь этотъ аккомпанементъ, отъ котораго у нея что-то подымается въ сердцѣ, и ее самое подымаетъ и уноситъ вверхъ. Вонъ бѣлая, слоновой кости палочка капельмейстера взмахнула ей—она начала. Роскошный чудный голосъ разомъ покрылъ и страстную мольбу скрипокъ и замирающія всхлипыванія флейты... Онѣ все гаснутъ и гаснутъ—теперь она одна властительно и смѣло наполняетъ громадную залу своими тягучими, какъ удары колокола, легкими, какъ вспышки весенняго зефира, звуками... Она сама слышитъ себя... Внимаетъ себѣ... Бурные упреки переходятъ въ нѣжныя моленья... Вотъ отзывъ другой души, о которой она такъ просила. Къ нему несся напѣвъ ея, горячій и сильный... И она не та—не куча лохмотьевъ и тряпокъ... Вмѣсто этого безкровнаго, впалаго рта—крупныя алыя губы, глаза не уходятъ въ щелки и морщины, а горятъ вдохновеніемъ, сверкаютъ и лучатся; черныя косы длинными змѣями вьются вокругъ ея шеи и безсильно падаютъ внизъ... И грудь у ней такъ сильна, такъ высоко колеблется она, точно упругія волны синяго моря подъ упорнымъ набѣгомъ сѣвернаго вѣтра... Красавица! Всѣ ей говорятъ это, шепчутъ ей на ухо, повторяютъ страстно и порывисто на колѣняхъ. Она читаетъ это въ тысячахъ обращенныхъ къ ней взглядовъ.

Красавица, блестящая красавица! «Дива»! Словно бурный ураганъ, подымаются передъ нею крики

восторга... Ее вызываютъ. Толпа еще разъ хочетъ наглядѣться на это милое лицо увлекшей ее артистки... Не хотятъ разставаться съ нею даже на краткій антрактъ... Тяжело сгибаясь подъ тяжестью цвѣтовъ и лавровъ, подаетъ ей вѣнокъ капельмейстеръ. Вонъ этотъ самый, висящій на стѣнѣ, благоухающій розами и гіацинтами, изъ свѣжей массы зелени, привѣтствующій ее поэтическимъ ароматомъ... Куда дѣвался безобразный проволочный остовъ, сухіе пучки желтой листвы, сѣрой, какъ пыль, и разваливающейся при малѣйшемъ прикосновеніи? Куда спрятались жалкія, чахлыя, чахоточныя ленты?.. Висятъ онѣ, висятъ ихъ широкія, шитыя золотомъ полотенца...

— Аполлончикъ... а Аполлончикъ!

Куча тряпья въ углу шевелится. Оттуда высовывается худая и длинная, какъ проволочный остовъ стараго вѣнка, фигура.

— Что, Сашурочка?

— А футляръ гдѣ?.. Помнишь, мнѣ за Поликсену корону подали.

— Вотъ онъ тутъ, футляръ-то... тутъ..

— Корона въ закладѣ пропала. А на футлярѣ надпись была... Вотъ она... Помнишь тотъ вечеръ? Тогда послѣ театра ко мнѣ какъ сумасшедшій графчикъ ворвался. Изъ окна выброситься хотѣлъ... Какіе они всѣ глупые эти мужчинки!..

Счастливая улыбка освѣщаетъ старое, высохшее лицо.

— Какіе они всѣ глупые!

И опять старыя воспоминанія. Опять, словно встревоженныя пчелы надъ ульемъ, цѣлый рой образовъ, звуковъ — изъ далекаго-далекаго про-

шлаго... Слова любви, часы безмѣрнаго счастья... Палящій огонь поцѣлуевъ, бѣшенство страсти... Она совсѣмъ молодѣетъ отъ этихъ поцѣлуевъ... Какъ прежде, куда-то въ пространство, словно ища другихъ такихъ же, протягиваются ея костлявыя, черныя, какъ на высохшемъ трупѣ, руки...

— Аполлончикъ... Тогда любить умѣли... Теперь ужъ не любятъ, нѣтъ!

— Тогда умѣли, Сашенька. Тогда вотъ какъ любили... Помните княгиню-то?

— Еще бы.

— Завезла она меня въ деревню, заперла да три мѣсяца не выпускала. Тогда люди были...

И совсѣмъ взволнованный старикъ выскочилъ изъ угла, изъ своей кучи тряпокъ и, безсильно покашливая и забирая въ сторону ногами, сталъ бѣгать изъ угла въ уголъ...

И опять пошли воспоминанія о прошломъ, и опять новые рои пчелъ налетѣли ни вѣсть откуда въ эту чахлую, жалкую и пыльную мансарду...

А въ окно уже смотрѣла ночь...

Темная-темная ночь, съ безчисленными печальными звѣздами. Онѣ точно смигивали слезы, глядя на эти два старые, отрепанные, въ пыль и грязь брошенные и все-таки живо и глубоко чувствовавшіе старые вѣнки...

И старикъ точно понялъ это.

Подбѣжалъ къ окну... взглянулъ прямо въ глубь этого темнаго, ночного свода...

— Большая-то Медвѣдица уже гдѣ! Скоро семь часовъ, Сашурочка... Пора, на службу пора.

И Сашурочка тоже безсильно выползаетъ изъ своего угла, сбрасываетъ съ себя тряпки ветхой

постели, надѣваетъ рваный салопишко, и оба подъ руку идутъ внизъ—чахлые, жалкіе...

Внизъ—во дворъ, на улицу, за рѣку—туда, къ этому громадному зданію театра, гдѣ когда-то они царили и куда теперь ихъ не пускаютъ даже подышать этимъ душнымъ, теплымъ воздухомъ сцены и кулисъ.

И еще чаще смигиваютъ надъ ними свои золотыя слезы печальныя, блѣдныя звѣзды темнаго, тоскливаго неба.

III.

Бенефисъ Аполлончика.

Не все были тяжелые дни—случались въ этомъ гробу, гдѣ гнили живые мертвецы, и свѣтлыя мгновенія.

Старики часто устраивали другъ другу бенефисы. На это время глухой уголъ преображался. Пыль сметалась въ уголъ. Еще покрѣпче державшіеся вѣнки слегка стряхивались. Передняя часть жалкой конуры освобождалась отъ всякихъ тряпокъ...

Разъ, весною, былъ именно такой свѣтлый день, улыбнувшійся привѣтливымъ, несмотря на апрѣль, солнцемъ, ярко отгорѣвшій густыми алыми тонами на западѣ. Ни одна тучка не темнила глубокаго неба. Холодная лунная ночь смѣнила удавшійся день, и мѣсяцъ, остановившійся противъ окна нашихъ стариковъ, пристально всматривался въ него, точно и ему хотѣлось разглядѣть, что это дѣлаютъ двѣ всѣми оставленныя, цѣлымъ міромъ забытыя, выцвѣтшія отъ старости крысы. А крысы въ этотъ именно вечеръ занялись совсѣмъ необычнымъ дѣломъ.

Аполлончикъ съ необычайною торжественностію порылся-порылся въ кучѣ тряпокъ, завалившихъ уголъ, и вытащилъ оттуда какую-то красную накидку съ фольговыми звѣздами, потускнѣвшую мѣдную корону, ржавые мѣдные обручи вмѣсто браслетъ... Все это, какъ святыню, держа на далеко вытянутыхъ рукахъ, онъ отнесъ Сашенькѣ. Сашенька живо сбросила съ себя ветхія лохмотья и одѣлась въ этотъ полуфантастическій костюмъ. Она обернула въ одномъ мѣстѣ тряпкой корону, чтобы та не проскочила черезъ голову на шею, а держалась на своемъ мѣстѣ, затѣмъ застегнула мѣдные обручи вокругъ костлявыхъ рукъ. Въ это время Аполлончикъ тоже не терялъ времени. Онъ вытащилъ на свою долю длинный голубой плащъ, трико на ноги, старые рваные ботфорты и необыкновенный беретъ съ плюмажемъ. Оба они сего дня не шли на обычную службу. Оба справляли бенефисъ, слѣдовательно, и у себя дома было много дѣла. И когда артисты, одѣвшись, зажгли второй сальный огарокъ и взглянули въ обломки зеркала, тускло отражавшаго огонь этого жалкаго освѣщенія, сквозь паутину и какую-то плѣсень, покрывшую его стекло, Аполлончикъ вдругъ всплеснулъ руками.

— Сашурка, Сашурочка, Сашенька?!

— Что?—заторопилась королева въ лохмотьяхъ.

— Не все... не все конечно... Забыли... Забыли... Гриммъ-то, гриммъ, гдѣ...

Старуха бросилась къ себѣ и вытащила коробочку съ остатками старыхъ красокъ.

Бережно, точно это была ни вѣсть какая драгоцѣнность, они брали краски, смѣшавшіяся съ

пылью и грязью, и размазывали по своему лицу вокругъ глазъ, носа, рта, поминутно глядясь въ зеркало и улыбаясь тѣмъ страннымъ и полуфантастическимъ призракамъ, которые, вмѣсто ихъ лицъ, смотрѣли на нихъ оттуда...

Когда, наконецъ, они кончили и поднялись съ мѣстъ — посторонній человѣкъ разрыдался бы, глядя на эти двѣ старыя размалеванныя куклы, тогда какъ онѣ только счастливо улыбались, глядя другъ на друга... Старикъ въ порыжѣломъ разодравшемся бархатѣ голубого плаща, вытертаго какъ шкура старой, умирающей за городомъ во рву собаки, въ дырявомъ трико, которое на худомъ костякѣ его ногъ висѣло широкими складками, въ лихо вздернутомъ набекрень беретѣ, не прикрывавшемъ голаго черепа, съ пучками желтаго пуха вмѣсто волосъ, съ густымъ слоемъ грязи и красокъ вокругъ ввалившихся глазъ, съ широкой бѣлою линіей, намалеванною на лбу, бѣлою линіею на носу—совсѣмъ какъ и слѣдуетъ по театральному, съ длинною и худою шеей, болтавшеюся въ смятыхъ лохмотьяхъ,—старикъ съ восторгомъ смотрѣлъ на королеву, стоявшую передъ нимъ. И королева дѣйствительно стоила этого восторга. Она совсѣмъ забыла свои шестьдесятъ пять лѣтъ. Ихъ какъ будто бы вовсе не существовало. Забылъ ихъ и Аполлончикъ. Полусумасшедшими глазами онъ видѣлъ въ ней прежнюю красавицу, дѣйствительную царицу сцены, съ величавыми чертами лица, влажными, сіяющими глазами, съ роскошными очертаніями молодого, сильнаго тѣла. Что ему было за дѣло до того, что красная накидка валилась съ ея острыхъ, какъ у мертвеца, плечъ, что

эту накидку давно прогрызли мыши, что во всю спину шло какое-то темное пятно, что отъ всѣхъ этихъ тряпокъ вѣяло какимъ-то острымъ, противнымъ запахомъ разлагающейся гнили! Онъ не различалъ, что изъ-подъ тусклой короны, съ сѣрымъ налетомъ ржавчины, улыбалось ему лицо черепа, раскрашеннаго прямо по голой кости, а справа и слѣва, изъ-подъ этого царственнаго вѣнца, торчали какія-то жидкія, сѣдыя отрепья вмѣсто волосъ! Что ему было за дѣло до того, что королева то и дѣло потирала свои простуженныя колѣна и поминутно выгибала руки, съ которыхъ сваливались жалкіе браслеты! Онъ видѣлъ ее такою, какою зналъ когда-то, давнымъ-давно, въ лучшее время, въ счастливые годы славы, любви и юности!.. Для него эти тусклые, тоже будто простуженные глаза горѣли еще ослѣпительнымъ свѣтомъ, и когда онъ говорилъ ей: «Какая ты красавица, Сашурка!..» онъ не лгалъ ни на одну іоту. Она была для него дѣйствительно такою.

— И ты, Аполлончикъ! вовсе не измѣнился!.. Пора, пора!.. Начинать пора.

— Публика ждетъ... Слышишь, стучатъ. Сейчасъ режиссеръ заругается...

Оба совсѣмъ по-дѣтски играли въ «сцену». Оба наклоняли уши, прислушиваясь къ воображаемому говору зрителей, уже переполнившихъ партеръ и ложи, къ звуку настраиваемыхъ инструментовъ, отдаленной брани режиссера, шороху спускавшихся кулисъ, скрипу какихъ-то веревокъ, топоту ногъ, пробѣгавшихъ по сценѣ, говору товарищей въ сосѣднихъ уборныхъ, глухому шуму изъ большой комнаты, гдѣ цѣлою оравой одѣвались

хористы. Оба торопили другъ друга и метались въ своемъ жалкомъ углу, сбиваясь съ ногъ...

— Сашурочка...

— Что?

— А вѣдь ты позабыла.

— Все сдѣлала, кажется, — съ искреннимъ недоумѣніемъ останавливалась та.

— А велѣла транспонировать арію «О сколь любовь волшебна»? Вѣдь ты горлышко-то свое соловьиное простудила. Пожалуй, фа-діэзъ и не возьмешь теперь.

— Сдѣлала, сдѣлала. А вотъ ты такъ и позабылъ сказать, въ какомъ тонѣ-то аккомпанировать...

И старикъ, словно сейчасъ вспомнившій это, выбѣжалъ за дверь и сіяющій вернулся оттуда... Сіяющій потому, что за дверью, въ темномъ чуланчикѣ, онъ увидѣлъ пучокъ травы, одуванчиковъ и ромашекъ. Старуха съ утра приготовила ему этотъ «букетъ» отъ публики. Она исходила подъ всѣми заборами, старательно вырывая цвѣтокъ за цвѣткомъ и травку за травкой.

— Тамъ мнѣ подарокъ отъ публики! — таинственно онъ наклонился къ ней.

— Ну что жъ удивляться... Ты вѣдь заслужилъ...

— Звонокъ... второй звонокъ. Сашурка, пора... увертюра окончилась. Сейчасъ окончится интродукція. Занавѣсъ, занавѣсъ!

Старушка ушла въ чуланчикъ, ожидая своего выхода.

Аполлончикъ зажмурился, точно за послѣдней кулисой передъ тѣмъ, чтобы переступить на ярко освѣщенную сцену. Перекрестился и шагнулъ.

Приложилъ руку къ сердцу и сталъ раскланиваться по старинному, «съ грасами», впередъ, направо, налѣво, отступая назадъ и опять начиная. Ему слышались рукоплесканія публики. Сашурка, пріотворивъ двери, точно изъ-за кулисы любовалась на него и посылала ему воздушные поцѣлуи, прикладывая костлявую руку ко впалой дырѣ провалившагося рта. Наконецъ аплодисменты окончились — капельмейстеръ взмахнулъ палочкой и — аккомпанементъ начался.

Старикъ выпрямился... Шагнулъ впередъ... протянулъ руку и поднялъ голову.

Послышались дребезжащіе, прерывающіеся звуки. Есть такія старыя шарманки. Лѣтъ десять разбитая, изломанная, съ провалившимся бокомъ, скоробившеюся крышкой, лежитъ она въ пыли сарая. Валикъ ея весь покрылся ржавчиной, молоточки заснули вѣчнымъ сномъ... Внутри мыши завели гнѣзда. Внизу даже бѣлые грибы, слѣпые, которые растутъ въ сырыхъ помѣщеніяхъ безъ свѣту, ухитрились подняться. И вдругъ забѣжитъ въ сарай шалый мальчишка, схватится за сиротливо торчащую ручку, на которой мокрицы и черви оставили влажные слѣды. Схватится — и давай вертѣть. Словно разбуженный старикъ, валикъ начинаетъ хрипѣть, сердиться, скрипѣть, жаловаться. Но мальчикъ на его хрипѣніе и кашель не обращаетъ никакого вниманія... Отъ темноты онъ не замѣчаетъ даже, что сквозь дыру провалившагося бока оттуда выбѣгаютъ встревоженныя мыши. Онъ все также настойчиво продолжаетъ вертѣть ручку... И вотъ, вдоволь накашлявшись и наскрипѣвъ, старикъ-валикъ вы-

крикнетъ одну рѣзкую, пронзительно рѣзкую, долго еще дрожащую нотку, потомъ опять долгій старческій кашель и опять нотка еще болѣе пронзительная... хрипѣніе, свистъ изъ немощной безсильной груди—и третій звукъ такъ же жалкій, печальный, какъ и тѣ... Только съ такою забытою шарманкой и можно было сравнить прерывающійся голосъ старика, когда, жестикулируя передъ воображаемою сценой, онъ, послѣ ему одному слышнаго аккомпанемента оркестра, запѣлъ анданте. Разумѣется, старая артистка была въ восторгѣ. Для нея эта арія звучала со всей своей красотою и силой. Мощные звуки Чимарозы неслись въ высоту и гасли тамъ, гдѣ-то далеко-далеко, въ потемкахъ райка, въ густомъ лабиринтѣ смутно переплетавшихся наверху балокъ, поддугъ, свернутыхъ и точно ожидающихъ очереди кулисъ. Ей казалось, что голосъ старика сохранилъ гибкость и чистоту. Она съ прерывающимся дыханіемъ и блаженною улыбкою прислушивалась къ его модуляціямъ, какъ прислушивалась когда-то, лѣтъ тридцать пять назадъ, прислонившись къ полотняной кулисѣ и задерживая влажной отъ волненія рукой слишкомъ сильно бьющееся сердце.

Пора и ей начинать. Аполлончикъ кончилъ. Публика ему бѣшено рукоплещетъ—онъ кланяется ей... Вотъ обращается къ ней музыкальная фраза... Нужно выйти поизящнѣе... «Наша публика не то, что нынѣшняя, — наша публика любила грасы». Прыгъ-прыгъ на сцену. Болятъ старыя ноги, но дѣлать нечего. Надо! Вторую старую разбитую шарманку завертѣлъ шаловливый мальчишка... Теперь ужъ двѣ шарманки вмѣстѣ стучатъ, сви-

стятъ и кашляютъ. Онъ, раскланиваясь съ удивительно изящными манерами, рисуется предъ нею... Она борется со своею любовью, но сердце не можетъ устоять. Она должна отдаться соблазнительному красавцу... Въ дуэтѣ мольба и желаніе, разсудокъ мало-по-малу гаснетъ, страсть вспыхиваетъ сильнѣе и сильнѣе. Костлявая въ сѣдомъ пуху рука обнимаетъ ея больной станъ... Она кладетъ размалеванную голову съ жидкими космами бѣлыхъ волосъ къ нему на плечо... Опера идетъ среди восторженнаго замиранія сердецъ, сдержаннаго шопота экстаза, бурныхъ рукоплесканій. Зала электризуется все больше и больше... Лица зрителей не могутъ оторваться отъ этой молодой, красивой пары. И какихъ зрителей! Изъ безчисленныхъ могилъ, разсѣянныхъ по всему міру, встали они изъ-подъ сугробовъ степныхъ деревенскихъ кладбищъ, изъ-подъ памятниковъ городскихъ, изо рвовъ и пустырей, гдѣ мирно гніютъ трупы самоубійцъ... Отовсюду встали съ болѣзненнаго одра, гдѣ доживаютъ свой вѣкъ, старики и сошлись въ эту воображаемую залу воображаемые зрители во всемъ блескѣ прежней красоты и молодости. Изъ залитыхъ свѣтомъ ложъ смотрятъ сюда изящныя дамы. Какъ бѣлы ихъ плечи, какіе брилліанты сверкаютъ на ихъ лебединыхъ шеяхъ... Огни скользятъ матовымъ, мягкимъ блескомъ по атласу, шелку и бархату, дробятся на звѣздахъ, лучатся въ граняхъ драгоцѣнныхъ камней, тонутъ въ сумракѣ, густящемся въ знойной глубинѣ этихъ ложъ.

Хорошо... Молодость, сила, счастье, какъ Лазарь, чудомъ поднялись изъ гроба и вернулись къ нимъ.

Аполлончикъ возбуждался все больше и больше... Все громче и громче выкрикивалъ разбуженный валикъ шарманки рѣзкія пронзительныя нотки... Въ горлѣ у старика точно стучали чудомъ встрепенувшіеся молоточки... Всѣ мыши и крысы, свившія себѣ спокойныя гнѣзда въ ихъ груди, выбѣжали оттуда вонъ... Свѣжая струя чувства, восторга и вдохновенія, какъ прохладный вѣтеръ, врывалась въ застоявшійся душный воздухъ... Онъ, этотъ проснувшійся артистъ, жестикулировалъ сильнѣе и сильнѣе. Куда дѣвался застарѣлый ревматизмъ его ногъ? Онѣ въ широкомъ трико бодро переступали съ мѣста на мѣсто... Она, его царица, шестидесятипятилѣтняя королева въ лохмотьяхъ, тоже росла и росла. Недуги, слабость — все ушло куда-то далеко... Ушло съ влажными стѣнами грязной мансарды, съ пылью заваленныхъ тряпками угловъ, съ потолкомъ, съ котораго висѣли безобразные клочья паутины. Оба играли во всю. Чудесно подхватывалъ модуляціи ихъ голоса оркестръ... Дивные напѣвы двухъ солистовъ красиво звучали на однообразномъ фонѣ хора, на сей разъ тоже прекрасно исполнявшаго свое дѣло... Мелодіи росли, голоса заносились выше, подъ самое небо... Крики любви и ревности, восклицанія муки и вражды, смѣлые вызовы — все сливалось въ одинъ ослѣпительный, увлекающій ураганъ звуковъ и впечатлѣній... Вихремъ неслись они впередъ и впередъ... Вотъ послѣдняя сцена... Тысячи зрителей теперь живутъ и чувствуютъ одною душою... Теперь все — и зала, и оркестръ, и пѣвцы слились въ одинъ порывъ. Наступилъ тотъ моментъ общенія, котораго такъ страстно жаждутъ

артисты... Послѣдніе звуки... Пролилась кровь. Бѣдная жертва безсильно лежитъ у его ногъ. Онъ проклинаетъ надъ нею и себя, и небо, и жизнь... Могучій вызовъ судьбѣ рвется впередъ... Кинжалъ поднятъ вверхъ, еще минута, и—Аполлончикъ безжизненной массою тоже рухнется внизъ... Тихо шурша, среди вдохновеннаго и затаеннаго дыханія театра, опускается занавѣсъ. Оркестръ доигрываетъ послѣднія нотки крадущагося въ душу ритурнеля...

Пауза... Никому не хочется очнуться отъ пережитыхъ впечатлѣній... Больно выйти изъ этого дивнаго поэтическаго миража — и вдругъ цѣлая буря аплодисментовъ, цѣлый вихрь криковъ и восклицаній... Сашенька не теряетъ времени. Она живо бросается въ чуланчикъ и, вернувшись оттуда, какъ-будто изъ публики, подаетъ Аполлончику роскошный букетъ... Одуванчики осыпались, желтая ромашка завяла, и лепестки ея свернулись и потемнѣли, зеленые стебли травы растрепались. Но они не видятъ ничего этого... Для нихъ букетъ благоухаетъ розами, жасминами, гіацинтами... Аполлончикъ счастливый, помолодѣвшій на тридцать лѣтъ, кланяется направо, налѣво, впередъ... Особенно низко склоняетъ артистъ черепъ передъ ложею налѣво... Подносить одуванчики къ сердцу...

И ..

И спектакль кончается. Публика разъѣзжается опять въ забытыя могилы, подъ городскіе памятники, подъ деревенскіе снѣговые сугробы, къ болѣзненнымъ одрамъ, въ прокопченныя и продушенныя спальни...

Королева въ лохмотьяхъ и рыцарь въ разъѣденной плѣсенью мантіи отдыхаютъ въ уборной.

Отъ одуванчиковъ остались одни голые наперстки, какъ и отъ роскошныхъ кудрей Аполлончика—черепъ съ жалкими пучками желтаго пуха...

Пора—конецъ уже.

Аполлончикъ тушитъ сальный огарокъ...

Королева снимаетъ красную накидку, рыцарь сбрасываетъ широкія складки трико...

Праздникъ кончился. Второй огарокъ задувается тоже. Свѣчи дороги, страшно дороги, и надо беречь ихъ. Въ комнату сквозь окно врывается ночь. Удивленный мѣсяцъ все также неотступно всматривается въ мансарду... Темнота ея послѣ только-что пережитаго праздника кажется еще тяжелѣе... Въ ней слышится какой-то зловѣщій шорохъ...

Шаловливый мальчишка бросилъ ручку шарманки.

Валикъ похрипѣлъ-похрипѣлъ и заснулъ опять. Молоточки еще нѣсколько разъ вздрогнули и остановились... Поднятая въ шарманкѣ пыль медленно стала осѣдать. Пугливые мышенята показались изъ угловъ, и тихо тихо крадутся занять старое мѣсто въ разбитой шарманкѣ.

Старики спятъ подъ лохмотьями.

Завтра—будни. Начнется служба. Нужно опять итти къ театру и на дождѣ и на холоду простаивать передъ нимъ...

Старики спятъ... Утомились, спятъ крѣпко.

И чудится, что въ воздухѣ носится чье-то едва слышное рыданіе...

Кто это плачетъ?.. Не старые ли вѣнки въ фантастическомъ царствѣ сказочной ночи роняютъ

слезы вмѣстѣ съ отсохшими листьями?.. Или это дыханіе спящаго вырывается съ тихою жалобою изъ настуженныхъ и натруженныхъ старыхъ грудей?..

IV.

У графчика.

Давно у стариковъ не было такихъ тяжелыхъ дней, какъ въ послѣднее время...

Прежде они перебивались. Живъ былъ какой-то князь, выдававшій Аполлончику пенсію. Пѣвицѣ помогала младшая сестра, вышедшая прямо изъ балета замужъ за богатаго купца. Но князь умеръ въ Неаполѣ, сестра послѣ того, какъ мужъ ея разорился до тла, ушла въ монастырь... Сашенька осталась одна, безъ помощи, безъ средствъ. Аполлончикъ хотѣлъ было найти себѣ занятія, но его считали полусумасшедшимъ и выпроваживали отовсюду. Продавали пока, что было продавать—старыя платья, браслеты, ожерелья, серебряные и золотые вѣнки... Съ каждымъ изъ этихъ «воспоминаній» прошлаго тяжело и больно было разставаться. Наконецъ пришла такая пора, что и у самихъ ничего не осталось кромѣ ветхихъ тряпокъ, лохмотьевъ, уже негодныхъ и старьевщику. Были еще ленты отъ вѣнковъ,—онѣ тоже пошли за безцѣнокъ. Старики проѣли ихъ, а тутъ зима, хозяинъ требуетъ платы, два дня комната оставалась нетопленной. Сбившись въ уголъ и плотно прижавшись другъ къ другу, они сидятъ, дрожа цѣлые часы, тогда какъ слабый паръ отъ ихъ дыханія бѣлымъ налетомъ осѣдалъ на стекла окна...

— Холодно, Аполлончикъ, холодно!—жаловалась старая пѣвица.

— Перетерпимъ... Что дѣлать!—стонало что-то у него въ горлѣ.

— Умремъ вѣдь, а, умремъ?

— Коли бы помереть... А то иной разъ думаешь, что про насъ Богъ забылъ совсѣмъ.

— Что ты, что ты... Нехорошо роптать... Богъ знаетъ, что дѣлаетъ... Сидимъ мы, сидимъ съ тобою такъ-то: вдругъ стукъ-стукъ. Что такъ?—Здѣсь живетъ артистка такая-то?—Здѣсь!—Извольте получить.—А?

— Хорошо бы...

— Сейчасъ тогда дровъ. Печку растопили бы жарко-жарко...

— Кофею, горячаго кофею... со сливками, а?.

— Супу бы я сварила...

— Горячаго?..

— Горячаго... Горячѣй чего нѣтъ...

И они еще тѣснѣй жались другъ къ другу отъ холода. Но чуда не случилось, никто не говорилъ: «извольте получить», и старая зола въ печи горбомъ лежала холодная, какъ только-что выпавшій снѣгъ...

— Знаешь что, Аполлончикъ...

— Что?

— Я надумала, я хорошо надумала... Табуретка у насъ осталась еще...

— Ну?

— Ее бы...

— Что ее?

— Въ печку... Разгорѣлась бы живо... Погрѣлись бы мы..

— Нельзя, Сашечка... Твой бенефисъ скоро, сама знаешь... Тронъ-то гдѣ мы возьмемъ?

— Ну ужъ и такъ... Подоконникъ есть, онъ вмѣсто трона будетъ...

— Ахъ, Сашечка, жаль...

Тѣмъ не менѣе съ страшными усиліями и перерывами Аполлончикъ разрушилъ тронъ и обломки его бросилъ въ печь. Старички сѣли у огня, живо охватившаго сухое дерево, и съ наслажденіемъ протянули къ нему руки. Яркіе языки пламени лизали стѣны печи, вырывались наружу, чуть не обжигали имъ лица... Вѣтеръ, порою дувшій въ трубу, клубилъ прямо на нихъ удушливый дымъ, но старикамъ стало такъ тепло и хорошо, что они забыли все на свѣтѣ.

— Помнишь, у меня капотъ весь на собольемъ мѣху, бѣлый такой... мягкій, хорошо въ немъ было.

— Тепло у насъ бывало всегда. Мы дровъ не жалѣли...

— А теперь...

— Богъ видитъ, Сашурочка. Богъ видитъ... Мы терпимъ, а Онъ видитъ...

Старикъ подъ вліяніемъ тепла нѣсколько размякъ и впалъ въ умиленный тонъ. Его согрѣло...

— Не знаешь, гдѣ найдешь. Вдругъ идемъ по улицѣ—видимъ платокъ...

— Ну?—живо заинтересовалась старушка.

— Подымаемъ — тяжело... Въ платкѣ бумажникъ.

— Чужой вѣдь?

— А намъ по закону третья часть. Но мы благородны. Мы съ тобой отыскиваемъ хозяина, говоримъ: потеряли вы деньги? Тотъ сейчасъ къ

намъ... Нашли, нашли? Мы благородцы, говоримъ: третьей части намъ не надо. И вдругъ онъ намъ награжденіе...

— Нѣтъ такихъ платковъ, Аполлончикъ. Нѣтъ...

— Нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Ну, если ты говоришь, значитъ нѣтъ. А то вдругъ мы идемъ, и намъ навстрѣчу кто-нибудь изъ старыхъ нашихъ знакомыхъ и...

И знакомыхъ такихъ нѣтъ.

— Это почему?

— А потому, что либо перемерли, либо изъ своихъ спаленъ не выходятъ... Слѣпенькіе да больные старички... Вотъ наши знакомые. Они по улицамъ не ходятъ, Аполлончикъ. А если бы и встрѣтились, такъ все равно не узнали бы; какъ насъ узнать имъ! Мы такіе оборванные, грязные, старые...

Аполлончикъ понурился... Не надолго только. Тепло ужъ очень окрыляло фантазію.

— А то въ самомъ дѣлѣ, какъ ты говорила, вдругъ—стукъ-стукъ...

И оба вздрогнули... Въ двери дѣйствительно застучали. Старички встрепенулись...

— Вотъ видишь, вотъ видишь,—радостно повторилъ Аполлончикъ.—Вотъ видишь. Я тебѣ говорилъ, говорилъ... Вотъ и стучатъ и стучатъ...

Старушка, тоже вся возбужденная, быстро проковыляла къ дверямъ, ожидая встрѣтить за ними вѣстника радости. Но увы! вмѣсто таковаго на лѣстницѣ оказался старшій дворникъ.

— Что тебѣ, Иванушка?—затормошился старичокъ

— Отъ хозяина.

— Ну?

— Извѣстно. Пять денъ льготныхъ прошло. Деньги за шесть мѣсяцевъ не плачены...

Старички опять, какъ пойманные въ клѣткѣ перепела, тѣсно-тѣсно прижались одинъ къ другому...

— Что жъ мнѣ хозяину сказать... Денегъ-то у васъ, видно, нѣтъ?

Старики молчали. Только еще тѣснѣе жались да вздрагивали...

— Нищета-то у васъ, голина... Помирать вамъ пора, вотъ что. Либо въ богадѣльню!.. Чего вы тутъ! Что жъ мнѣ хозяину-то сказать?.. Нѣтъ денегъ, значитъ? Такъ что ли?

— Нѣтъ... нѣтъ денегъ... Иванушка... Будутъ, скоро отдадимъ...

— Такъ... Ну вотъ коли къ послѣ-завтрему не достанете — вонъ. Сейчасъ же—слышите—на улицу выгоню!

— Иванушка...

— Чего тутъ... Намаялся я съ вами... Шли бы на улицу просить, старички почтенные, всякій бы, ни слова не говоря, подалъ... Небось, чего не идете?

— Артисты мы, Иванушка... Артисты, намъ нельзя просить...

— Мы и просить-то не умѣемъ...—всхлипнула старушка.—Какъ мы просить-то будемъ!

— Ну, вотъ еще... Анбиція какая, скажите...

— Прежде сами давали, никому не отказывали, а теперь вотъ..

— Только помните, послѣ-завтра—вонъ! Чтобы и духу вашего не пахло. Вы тогда къ мировому-то не пошли, а исполнительный листъ—вонъ онъ

гутъ. Живо на улицу и—шабашъ. Мнѣ что жалѣть—не родные, слава Богу!

И дворникъ, хлопнувъ дверью, вышелъ, но потомъ вернулся опять.

— Печку топите, а весь день не жравши сидите,—укорялъ онъ ихъ.

— Что жъ дѣлать, Иванушка, что жъ дѣлать! Нѣту...

— А милостыню именемъ Христовымъ попросить—анбиція. Эхъ, вы!.. Ладно... Хлѣба вамъ принесу — лопайте. Только вотъ вамъ Богъ... Послѣзавтра—вонъ! Силы съ вами нѣтъ...

Дворникъ ушелъ.

Молча сѣли опять къ огню старички и понурились!

— Что жъ это будетъ...—выговорила наконецъ старушка.—Насъ, стариковъ, и на улицу! Куда же мы пойдемъ-то съ тобою, Аполлончикъ. Мы артисты, какъ они смѣютъ артистовъ-то? Я пойду къ хозяину сама. Скажу ему — мы артисты, такъ съ нами нельзя! А?

— Къ хозяину-то насъ не пустятъ, Сашенька... Ходилъ я какъ-то...

И опять молчаніе... тяжелое, грустное.

— Знаешь что, Аполлончикъ... Не хотѣла бы я. Да ужъ что!

— Ну?

— Одно и осталось... къ графчику...—нерѣшительно окончила она, точно сама себя испугалась.

Старикъ ощетинился, даже привскочилъ.

— Ну, Сашенька, не ждалъ я этого, извините—не ожидалъ... За мою любовь-то, да опять къ графчику...

— Да вѣдь я не съ тѣмъ, Аполлончикъ...

Но тотъ не слушалъ и, захлебываясь, продолжалъ ронять слова за словами.

— Хорошо-съ! Сколько лѣтъ мы жили честно, благородно — и вдругъ опять къ графчику!.. Прежняго захотѣлось? Сладкой жизни?.. А вы не помните...

— Аполлончикъ!.. Развѣ я съ тѣмъ, развѣ для того...—И старушка расплакалась.—Я... чтобы онъ помогъ намъ .. Кто другой остался?.. Кто...

Слезы ея разомъ успокоили расходившагося семидесятилѣтняго Отелло.

— Ну что жъ... Прости. Вѣдь я, знаешь сама...

— Ему что, ему ничего не стоитъ помочь намъ... А куда мы безъ него дѣнемся, куда?

— Вѣрно,. вѣрно, Сашенька... Вѣ-ѣрно... Прости меня, старика-дурака... Ничего-то я не понимаю, изъ ума выжилъ.

Рѣшено было завтра же итти утромъ къ графчику.

Старички отправились вмѣстѣ. Въ Аполлончикѣ все-таки просыпалась ревность. Онъ никакъ не могъ позабыть, сколько онъ прежде страдалъ изъ-за этого самаго графчика. Для него шестидесятипятилѣтняя Сашенька все еще казалась красавицей. Онъ смотрѣлъ на нее глазами сердца, и старикъ-графъ до сихъ поръ казался ему опаснымъ...

Домъ графа былъ далеко.

Артисты едва доплелись туда... Позвонили — ихъ не впустили, зашли со двора,—дворникъ ихъ вывелъ на улицу опять.

— Да намъ видѣть его надо... Мы артисты. Графъ насъ давно, изстари знаетъ.

— Коли видѣть нужно, станьте вотъ здѣсь, на панели, и ждите. Повезутъ графа кататься—вы ему и скажите, въ чемъ ваше дѣло. Только вѣдь онъ не пойметъ васъ...

Старички стали. Прошелъ часъ на холоду. Ждали терпѣливо...

Два или три раза въ дверяхъ показывался швейцаръ.

— Скоро ли выйдетъ графъ?—трепетно обращался къ нему Аполлончикъ.

— А вотъ его сейчасъ свинтятъ!—смѣялся тотъ.—Мы его по ночамъ на части разбираемъ, ну а днемъ свинчиваемъ опять... Подождите еще полчаса.

Со двора выѣхала карета и стала у подъѣзда... Скоро и двери его распахнулись. Швейцаръ выскочилъ на улицу. Въ дверяхъ, ведомая двумя лакеями подъ руки, показалась свинченная фигура графчика. Красныя пятна румянъ на щекахъ выдавались рѣзко. Паричокъ былъ надвинутъ на лобъ... Какъ скоро лакеи опускали руки — и весь графчикъ точно осѣдалъ. Младенчески-ясный взглядъ его скользнулъ въ ту сторону, гдѣ стояли артисты.

— Ваше сіятельство... графъ...—рванулась впередъ пѣвица.

— Старички... зачѣмъ старички... Откуда такіе старички...—зашевелилъ беззубымъ ртомъ графъ. — Почему старички?—обернулся онъ къ лакею.

— Съ утра стоятъ. Сказываютъ, изволили знать ихъ...

— Графъ, помните когда-то пѣвицу Александру***...

— Ну... что жъ... Разныя есть... А почему— вотъ что?.. И опять еще, гдѣ пѣвицы, какая пѣвица? Почему пѣвица?—Очевидно, онъ ничего уже не помнилъ и очень мало понималъ.

— Онѣ, ваше сіятельство, бѣдные... Такъ на бѣдность просятъ.

— А, бѣдные, — обрадовался графъ и разомъ успокоился.—Бѣдные... Это хорошо... Бѣдные... Полакомиться хотятъ... Андрей!—почему-то строго обернулся онъ къ лакею, ведшему его подъ правую руку.—Андрей, гдѣ мои ледянцы?.. Сейчасъ сюда ледянцы... — уже раздраженно заговорилъ графъ.

— Вотъ они, ваше сіятельство,—протянулъ къ нему лакей коробочку.

— Ну, ну... Такъ... ледянцы... Бѣдные... Старички... Вотъ—нате... Вотъ—ледянцы!

И графъ, совсѣмъ успокоенный, двинулся къ каретѣ. Его усадили туда и увезли.

Аполлончикъ держалъ въ рукахъ коробку съ ледянцами и не зналъ, что ему дѣлать съ нею.

Графъ еще разъ высунулся изъ окна кареты и сдѣлалъ имъ ручкой.

V.

Прощальный спектакль.

— Что же теперь?.. Что же мы?—бормоталъ про себя Аполлончикъ, возвращаясь домой.

Старая пѣвица только тряслась вся, не умѣя ничего сообразить, даже не понимая толкомъ, какъ все это случилось. Ужели это графчикъ, тотъ блестящій, котораго она знала когда-то, — слабо-

умный, свинчиваемый лакеями старикъ... Все уходитъ, да полно—уходитъ ли? Не ушло ли ужъ совсѣмъ?.. Только ихъ двое, она да Аполлончикъ, остались еще по какому-то недоразумѣнію. Зачѣмъ? Кому они нужны? «Ни себѣ, ни собакамъ!» крикнулъ имъ разъ домовладѣлецъ... Именно...

— Какъ же нынче?.. Какъ же теперь?..— задавался Аполлончикъ неразрѣшимыми вопросами.

— Знаешь...—жалась къ нему старушка. — На улицѣ какъ холодно, не могу я на улицѣ.

— Почему улица?

— А дворникъ-то говоритъ—на улицу! Замерзнемъ, Аполлончикъ.

— Это онъ такъ. Не смѣютъ они артистовъ на улицу!—храбрился тотъ. Мы если что, знаешь—до кого дойдемъ!

— До кого?

— До кого?.. А вотъ до кого!—ткнулъ онъ перстомъ въ небо.—Станемъ посреди улицы на колѣни да къ Богу къ Самому... Господи—Ты видишь, Ты знаешь... Накажи ихъ, Господи!.. Прокляни ихъ, Господи... Если что—такъ вѣдь вотъ мы какъ!

И Аполлончикъ вдругъ ободрился. Его наивная вѣра совсѣмъ подняла его. Ему уже казалось, что никто не посмѣетъ съ нимъ ничего сдѣлать... У него есть Богъ, надъ нимъ есть вонъ тамъ, за этими голубыми сегодня небесами, какая-то высшая грозная сила. Она все видитъ, все знаетъ. Она только и ждетъ, чтобы обиженный призвалъ ее на помощь...

А морозъ былъ сильный.

Съ утра сковалъ онъ все своимъ могучимъ молотомъ... и землю, и воздухъ, и дома... Все стало твердо, какъ желѣзо. Вчера еще рыхлый снѣгъ теперь только поскрипывалъ подъ ногами. Вѣтеръ не смѣлъ шелохнуться, и его заморозило мертвящее дыханіе полюса. Тучка съ утра было выползла на небосклонъ, да и замерзла тамъ, тоже обратившись какъ-будто въ комокъ холоднаго снѣга... Морозъ посеребрилъ всѣ бороды и волосы. Деревья, протягивавшія къ кому-то далеко свои простуженныя вѣтви, были теперь опушены инеемъ...

— Холодно на улицѣ, холодно,—торопилась домой Сашенька.

— Не посмѣютъ они... Говорю тебѣ — есть Богъ!—увѣренно успокоивалъ ее Аполлончикъ...

Но они посмѣли!.. Когда наши пѣвцы вернулись домой, все ихъ имущество, тряпки, старые вѣнки, ворохомъ лежало на лѣстницѣ въ одной кучѣ... Старуха, какъ увидѣла свои трофеи въ грязномъ углу, свалилась, какъ подкошенная, тутъ же. Аполлончикъ кинулся въ свой чердакъ, но оттуда высунулось въ двери худое лицо больной женщины. За нею изъ двери послышался плачъ нѣсколькихъ дѣтей.

— Зачѣмъ... наше мѣсто... Какъ смѣли?..—хрипѣлъ на нее Аполлончикъ.

— Наняла, переѣхала. Наняла—деньги отдала!—раздраженно кричала на него женщина...

— Вещи... вѣнки... Кто трогалъ?—старался ворваться въ двери старикъ. — Кто позволилъ?..

— Что жъ мнѣ эту дрань въ квартирѣ держать, что ли? — еще злѣе огрызалась та, загораживая собою полуотворенную дверь...

— Куда же мы! Изъ собственной комнаты—да на улицу... Это какъ же будетъ?..

— Ступай къ дворнику—у него узнаешь!—И дверь захлопнулась прямо передъ носомъ Аполлончика.

Дворникъ смущенно отвернулся въ уголъ...

— Ты говорилъ — завтра... Ты говорилъ — завтра... Куда мы сегодня? У насъ вещи... у насъ вѣнки... Вѣнки въ грязь... Развѣ можно!.. Кто ихъ подавалъ, знаешь ли ты? Понимаешь ли ты, что такое вѣнокъ?.. Надъ ними публика плакала вотъ... А ты въ грязь...—уже шипѣлъ Аполлончикъ.

— Намъ что же!—разсуждалъ дворникъ.—Намъ все равно, намъ публика—не указъ. Хозяинъ самъ былъ, при себѣ и выбросить приказалъ. Что, говоритъ, съ этою дрянью возиться. Тля одна и прахъ! Развѣ мы можемъ ослушаться! Мы отъ него хлѣбъ ѣдимъ.

— Какъ же ты говорилъ — завтра!.. завтра!.. Самъ говорилъ, я слышалъ.

— А что я могу... коли приказываютъ? Сейчасъ я и выволокъ труху-то вашу... Да что это такое... Силы, возможности нѣтъ!..

И озлобленный совсѣмъ, онъ схватилъ Аполлончика за шиворотъ и выволокъ его вонъ...

Старикъ, шатаясь и весь позеленѣвъ, поднялся опять на лѣстницу.

Сашенька сидѣла тамъ на кучѣ тряпокъ и тряслась вся. Она только подняла безпомощную голову свою и посмотрѣла на Аполлончика, ни слова не говоря. Очевидно, она понимала, что тутъ ничего не подѣлаешь противъ этой силы,

разомъ разбившей ихъ жалкое существованіе. Кажется, кому они мѣшали?.. Нѣтъ... Налетѣло откуда-то и перевернуло все разомъ! Все разметало, раскидало. Ихъ самихъ подхватило, унесло въ высоту вихремъ и оттуда хлопъ оземь! Пластомъ и лежатъ они теперь. Кругомъ обломки всего дорогого,—всего, къ чему приросло сердце, всего, съ чѣмъ оно сжилось, съ чѣмъ разлука стала невозможна. Въ этихъ жалкихъ тряпкахъ — все прошлое. Только ради этого прошлаго и оставалось жить до сихъ поръ. Оно только одно и привязывало... Въ немъ были корни, еще державшіе у земли эти старые, высохшіе стебли... Теперь эти корни были вырваны и разбросаны... Первый вѣтеръ подхватитъ ихъ вмѣстѣ со стеблями и угонитъ Богъ знаетъ куда...

— Сашенька... милая...—сѣлъ съ нею рядомъ старикъ и охватилъ ее руками.

Весь міръ, этотъ громадный, безконечный міръ кругомъ—чуждъ имъ... враждебенъ... Они одни—одни вдвоемъ. Сколько страшнаго въ этомъ сознаніи, что вся эта даль и ширь противъ тебя!.. Что ты одинъ съ грузомъ старости на слабыхъ плечахъ, безсильными ногами и больными руками остался лицомъ къ лицу съ ужаснымъ міромъ... Одинъ противъ всѣхъ!..

— Ты говорилъ—Богъ... Что это Богъ, Богъ-то что...

Аполлончикъ понурился весь. Очевидно, здѣсь, противъ этой стихійной силы, вырвавшей съ корнями старые стебли, никто и ничто не могло помочь... Цѣлый день, пока стемнѣло, сидѣли они тутъ, на ветхомъ тряпьѣ своемъ, заботливо подби-

рая листья съ вѣнковъ, когда они осыпались внизъ, и передвигая къ себѣ самые вѣнки... Точно они теперь были нужны кому-нибудь. Мимо проходила такая же бѣдность, стараясь не глядѣть на нихъ. Аполлончикъ и Сашенька также опускали головы, точно они въ чемъ-нибудь сознавали себя виновными, что-нибудь сдѣлали нехорошее.

Въ окнѣ, выходившемъ отсюда на кровлю сосѣдняго дома, стало темнѣть... Скоро черная ночь оттуда заглядѣлась на грязную лѣстницу со стариками, все такъ же неподвижно сидѣвшими на ветхомъ тряпьѣ. Изъ комнаты, гдѣ они жили, слышался тихій плачъ больныхъ дѣтей и тихая пѣсня больной женщины. Что-то шарахнулось въ стекло. Должно-быть, сосѣдній котъ сорвался съ трубы во время обычнаго воздухоплаванія по крышамъ. Старушка ни съ того ни съ сего встрепенулась.

— Что это?.. Что это?..—шопотомъ, испуганно спросила она.

Аполлончикъ только повелъ къ ней головою.

— Что это?.. За нами?.. За душой стучатся?..

И опять молчаніе. Внизу зажгли лампу!.. Шаги стали подыматься вверхъ... Показался дворникъ и позади какая-то смутно очерчивавшаяся въ темнотѣ фигура.

— Вотъ, господинъ городовой... Цѣлый день сидятъ, не уходятъ!..—жаловался дворникъ.—Хозяинъ, господа артисты, на васъ обижаются. Такъ невозможно...

— Шли бы вы, старички, шли бы себѣ безъ дебошу!—совѣтовалъ имъ городовой.

— Куда, куда мы пойдемъ?..—точно вскинулся вдругъ на того Аполлончикъ.

— Какъ куда?.. Надо итти!.. Начальство развѣ спрашиваетъ куда?.. Шли бы, ей-Богу... Что ужъ тутъ...

Аполлончикъ замеръ.

— Что жъ, старички. Ужели при всей вашей ветхости, мнѣ еще подчаска звать?.. Ей-Богу бы, безъ шума лучше...

— Пойдемъ,—точно что-то сорвало съ мѣста Сашеньку.—Пойдемъ, Аполлончикъ, пойдемъ...

— Куда?.. Куда пойдемъ-то?..

— Къ Богу... Къ Богу пойдемъ... На середину улицы, къ Богу... Онъ услышитъ... Проклянетъ ихъ... Пойдемъ... Пойдемъ...

— Вотъ такъ бы давно... И чудесно... А то что же сидѣть такъ-то, да безпокойство дѣлать...— хвалилъ ихъ городовой.

— Вѣнки... вѣнки возьми... Этотъ вотъ... Этотъ.

Старикъ взялъ нѣсколько вѣнковъ на себя. Взяла два вѣнка и Сашенька.

— И распреотлично... А то благороднымъ людямъ и вдругъ на лѣстницѣ...

Аполлончикъ на колеблющихся ногахъ спускался внизъ.

Одинъ вѣнокъ онъ повѣсилъ себѣ на шею, а два держалъ въ рукахъ. Странную картину представляли эти совершенно разбитыя существа, когда они, не зная куда и зачѣмъ, двинулись къ улицѣ.

— Гдѣ Богъ-то?.. Ты говорилъ—Богъ?—совсѣмъ мѣшалась старуха.

Аполлончикъ двигался прямо. Вѣра въ чудо исчезла. Осталась одна вѣра въ близость гибели. Спасенія нѣтъ. Чужой міръ кругомъ. Густая тьма... Куда, къ кому пойти? Вѣнки шуршали на немъ.

Послѣдніе сухіе листья падали съ нихъ на снѣгъ. Въ боковыхъ улицахъ посвистывала начинающаяся вьюга. Первыя порошинки снѣгу понесло имъ въ лицо. Какая-то странная внутренняя сила поддерживала Аполлончика и Сашеньку. Въ другое время они давно бы упали отъ устали...

Совсѣмъ пустынныя мѣста начались...

Заборы направо и налѣво... Вѣтеръ взрываетъ бѣлыя струйки снѣга и крутитъ ихъ вверхъ, точно изъ-подъ земли въ сквозныхъ саванахъ подымаются призраки, только для того, чтобы, взглянувъ прямо въ лицо старикамъ, унестись далеко-далеко съ жалобнымъ, тоскливымъ стономъ. Вѣтеръ все сильнѣе и сильнѣе... Призраковъ больше... Они растутъ повсюду... Бѣлые—вереницами подымаются изъ-подъ заборовъ, съ площади, несутся вмѣстѣ съ вѣтромъ, съ кровель домовъ, свиваются внизъ дикими гирляндами. Стоны ихъ громче и громче... При ихъ приближеніи начинаютъ трещать и грохотать ставни, болѣзненно скрипя на ржавыхъ петляхъ вывѣски, даже по старымъ заборамъ идетъ дрожь, когда и на нихъ кидается неугомонный вѣтеръ. А старики все идутъ... и идутъ...

— Сашенька... Куда мы, Сашенька?..—останавливается Аполлончикъ.

— Идемъ, идемъ... Къ Богу идемъ... Съ вѣнками... Съ вѣнками идемъ... Скажемъ — вотъ... Посмотри...—уже совсѣмъ помутившаяся шептала старуха.—Пусть... пусть Онъ увидитъ... Пусть узнаетъ...

Пустыри. Улицы ушли далеко назадъ... Гдѣ-то вдали робко-робко мигаютъ фонари... Тутъ, среди этихъ пустырей, совсѣмъ бѣсятся бѣлые

призраки... Точно они празднуютъ черное, злое дѣло... Вьются, вьются столбами вверхъ, кружатся хороводомъ, распадаются... Навзничь рушатся на землю, чтобы сейчасъ же, вмѣстѣ съ первымъ порывомъ вѣтра, сорваться и опять унестись впередъ въ бѣшеной вакханаліи...

Силы уже нѣтъ у стариковъ...

Ноги колеблются... Вѣнки внизъ тянутъ...

— Сашенька... Сашенька!.. Конецъ нашъ пришелъ... Конецъ...—молится старикъ.

— Къ Богу... прямо Богу... вѣнки-то... Вѣнки пуще всего не забудь съ собою!..

На пути—заборъ... прямо черезъ дорогу—снѣгъ... Ткнулись въ него старики... И онъ къ Богу не пускаетъ... Ткнулись—и рухнули въ снѣгъ... Итти нельзя дальше — силы нѣтъ... Прижались другъ къ другу... Ближе, ближе... Какъ жили вмѣстѣ, такъ и сѣли...

— Поютъ... Слышишь, Аполлончикъ, поютъ...

Аполлончикъ, застывая совсѣмъ, открылъ опушенные снѣгомъ глаза. Широко раскрылъ, какъ свѣчка, вспыхивающая ярко послѣдній разъ.

— А что?.. Гдѣ поютъ?..

И опять смежилъ вѣки... Свѣчка потухла

— Поютъ... Хорошо поютъ... Такъ нынче не умѣютъ... Огни... Огней сколько... Публика... Ждутъ, ждутъ... Ждутъ насъ, Аполлончикъ... Пора, нашъ выходъ... Пойдемъ...—торопила державшая его за руку старуха. — Пойдемъ скорѣе, скорѣе. Пора! Ахъ, поютъ какъ хорошо,—радовалась и волновалась она.

Но Аполлончикъ уже не слышалъ старую пѣвицу... Онъ совсѣмъ заснулъ, сладко заснулъ...

И въ послѣднія быстрыя мгновенія пробуждавшагося инстинкта только крѣпче прижался къ ней... Фитиль уже курился въ нагрѣтомъ подсвѣчникѣ, огонекъ нагара становился все тусклѣе и тусклѣе...

А бѣлые призраки метели все грознѣе и грознѣе подымались кругомъ, заглядывая прямо въ неподвижныя лица стариковъ, сбившихся вмѣстѣ, какъ сбиваются въ одну кучку замерзающіе воробьи....

КОНЕЦЪ.

НАУЧНАЯ БИБЛ.

BINDING CO.
ST 53 005 A 2 5447
L MARK

PG 3467 .N4 .N4 1908 C.1
Nezamistnye garol /
Stanford University Libraries
3 6105 035 661 474

PG3467
N4N4
1906

	DATE DUE		

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305